ГРАНИ

GRANI

73

1969

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Oktober 1969

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПОСЕВ“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ КНИГИ:

Александр ГАЛИЧ

ПЕСНИ

Три темы в этом сборнике стихов-песен. Первая тема — лагерная. Но это условное обозначение. Александр Галич, прошедший через тюрьмы и концлагеря, вышел за узкие рамки личного. Судьба страны, судьба поколения, судьба человека — вот тема его стихов-песен, посвященных годам сталинщины. Вторая тема — мерзость. Самодовольная, пошлая, свинцовая, страшная. Страшная не своей силой, а своей уродливостью. Третья тема — судьба маленьких людей большой столицы. Автор обладает особым слухом. Только поэтому он мог передать чувства людей так, как будто эти песни спеты ими самими.

В книге 132 страницы. Твердый переплет, тисненный золотом.

Художественно исполненная цветная суперобложка.
Цена — 14.80 нем. марок. В США и Канаде — 3.80 ам. дол.

Анатолий МАРЧЕНКО

Мои показания

Книга о нынешних советских тюрьмах и концлагерях. Бесчеловечность коммунистического режима остается его сущностью от концлагерей ленинских до концлагерей брежневских. Анатолий Марченко провел шесть лет в заключении. Об этих шести годах он и написал книгу. Не побоялся. Не был сломлен. «Над нашей согнутой толпой стоявший человек!».

Кроме текста записок автора, книга содержит все документы по так называемому «Делу Марченко»: его письма, петиции российской общественности в его защиту, полную запись процесса над И. Белогородской, осужденной на один год заключения за защиту А. Марченко, и др.

Сейчас Анатолий Марченко снова в лагере. В августе 1968 года его осудили на год, в августе 1969 года — еще на два года. Осудили подло, «втихую», на закрытых процессах. Ему мстят за книгу, хотя боятся сказать об этом открыто.

Книга Анатолия Марченко должна идти в Россию всеми возможными путями. Это долг каждого из нас перед автором.

Издательство выпустило книгу в удобном уменьшенном формате, но с четким хорошим шрифтом, общим объемом в 420 страниц, в мягком переплете.

Цена книги сведена к возможному минимуму — 14 нем. марок, в США и Канаде — 4 ам. дол.

Николай УЛЬЯНОВ

Замолчанный Маркс

Тема этой брошюры — та часть марксизма, которая всё еще остается неведомой большинству последователей и противников Маркса. Шовинизм и расизм Маркса, его ненависть к славянам, особенно к русским, показаны убедительно, документированно. Ложь марксизма обнажается в полной мере.

В брошюре 44 страницы. Цена — 4.00 нем. марки.
В США и Канаде — 1.20 ам. дол.

Заказы шлите по адресу:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15
Germany

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXIV **№ 73** **1969 год**

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — **Олень и шалашовка.** Пьеса 3

ВАЛЕРИЙ ТАРСИС — **Игрок. Внеочередное признание.** Стихи 96

БУЛАТ ОКУДЖАВА — **Фотограф Жора.** Маленький роман 99

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ЧАРЛЬЗ МОЗЕР — **У Анны Ахматовой** 171

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. КРАСНОВ — **Христос и мастер.** О посмертном романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Окончание 175

ФИЛОСОФИЯ. НАУКА

БОГДАН СУХОДОЛЬСКИЙ — **Мозг и личность** 195

БИБЛИОГРАФИЯ

Валерий Перелешин. Живое творчество распада. — **О. Можайская.** Отмена смерти. — **Валерий Перелешин.** Дурная мистика. — **А. Слизской.** Луцкий прорыв 201

Список книг, поступивших в редакцию 215

Обращение издательства «Посев» 216

© 1969 Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «П о с е в»

А. Солженицын

Олень и шалашовка

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Зэки:

РОДИОН НЕМОВ, недавний фронтовик
ПАВЕЛ ГАЙ, тоже; бригадир каменщиков
ЛЮБА НЕГНЕВИЦКАЯ
ГРАНЯ (АГРАФЕНА) ЗЫБИНА
БОРИС ХОМИЧ
ТИМОФЕЙ МЕРЕЩУН, врач зоны
НИКОЛАЙ ЯХИМЧУК
МАКАР МУНИЦА — литейщики
ГРИШКА ЧЕГЕНЕВ
ДИМКА, 14 лет
ЧМУТА, бригадир штукатуров
КОСТЯ, нарядчик
ПОСОШКОВ, комендант зоны
СОЛОМОН, старший бухгалтер зоны
БЕЛОБОТНИКОВ, бухгалтер
ДОРОФЕЕВ, нормировщик на производстве
ЗИНА, машинистка там же, лагерная жена Посошкова
КАМИЛЛ ГОНТУАР, бельгиец
ШУРОЧКА СОЙМИНА
БЭЛЛА

Как и все произведения А. Солженицына, пьеса «Олень и шалашовка» распространяется Самиздатом.

В декабре 1962 г. автор передал эту пьесу для постановки московскому театру «Современник». Однако после генеральной репетиции пьеса была снята с репертуара. Публикуется впервые. Ред.

1-я СТУДЕНТКА
2-я СТУДЕНТКА
ФИКСАТЫЙ
ЖОРИК блатные
ЛЕНЬЧИК
ЖЕНЬКА, тенор
ВИТЬКА, конферансье
АГА-МИРЗА, фельдшер з о н ы
АНГЕЛ, дневальный Планово-Производственной Части
ЗАВ. БАНЕЙ
СТАРШИЙ ПОВАР з о н ы
1-я, 2-я, 3-я, 4-я ЖЕНЩИНЫ ИЗ НОВОГО ЭТАПА
1-й, 2-й, 3-й, 4-й КАМЕНЩИКИ
1-й, 2-й, 3-й БРИГАДИРЫ
ДОХОДЯГА С КОТЕЛКОМ
1-й ДОХОДЯГА
РАБОТЯГА из бригады Чмуты

В о л ь н ы е :

КАПЛЮЖНИКОВ, главный инженер треста
ГУРВИЧ АРНОЛЬД ЕФИМОВИЧ, старший прораб строительно-монтажного объекта
БРЫЛОВ ВАСИЛИЙ ОНУФРИЕВИЧ, начальник литейного цеха
ФОМИН, десятник
1-й и 2-й ДЕСЯТНИКИ
МАСТЕР МЕХЦЕХА

О х р а н а :

ЛЕЙТЕНАНТ ОВЧУХОВ, начальник лагерного пункта
МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ КОЛОДЕЙ, старший надзиратель
НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА с буйными кудрями
ПРИЕЗЖИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ с лесной подкомандировки
СЕРЖАНТ КОНВОЯ
РАБОТЯГИ. БРИГАДИРЫ. ПРИДУРКИ. АРТИСТЫ КВЧ. НАДЗИРАТЕЛИ. ВАХТЕРЫ. КОНВОИРЫ. ЧАСОВЫЕ НА ВЫШКАХ

Время действия — осень 1945 года.
Промежутки между актами — по несколько дней.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЛАГЕРНОГО ЯЗЫКА

(Приложение к театральной программке)

Бациллы (блатн.) — жиры.

Гарантийка — гарантированная (при отсутствии работы) хлебная пайка. Колебалась в то время от 450 до 650 граммов в день. Осмысливая это трудное слово, называли ее и карантийкой (за то, что давали ее, в частности, и в карантине).

ГУЛАГ — Главное Управление Лагерей МВД и подчиненный ему архипелаг островков-лагерей, разбросанных по стране в те годы.

Быть в законе (блатн.) — жить по воровскому закону, а, в частности, — «законов» не работать.

Жить в законе — т. е. в лагерном «браке» — не таясь, при молчаливой снисходительности начальства.

Зэк — от официального сокращения з/к («зэ-ка») — заключенный.

Зона — 1) пространство, огороженное колючей проволокой. В частности и особенно — жилая зона; 2) самый забор с запретной полосой.

Кантоваться, филонить — жить «день до вечера»; отбывая срок, стараться не работать.

КВЧ — Культурно-Воспитательная Часть (отделение лагерной администрации).

Костыль (блатн.) — пайка (в смысле: то последнее, что еще поддерживает жизнь).

Мантулить, вкалывать — работать по-настоящему.

ОХРА, ВОХРА — лагерная полувоенизированная охрана.

Параша (одно из значений) — непроверенный лагерный слух.

ППЧ — Планово-Производственная Часть (отделение лагерной администрации).

Придурки [1) в жилой зоне; 2) на производстве] — заключенные, не работающие физически.

Сосаловка, доходиловка — безнадежно-голодное место.

Столыпин — железнодорожный тюремный вагон.

УРЧ — Учетно-Распределительная Часть (отделение лагерной администрации).

Фашисты — так с 1941 года ругали и дразнили всех политических.

Фитиль (блатн.) — сильно ослабший человек (глагол: фитилить).

На цырлах — почти непереводимо. Одновременно: на цыпочках, стремительно и со всем усердием.

ЧТЗ («Челябинский Тракторный Завод») — наскоро сшитая из автомобильной резины грубая обувь, оставляющая после ноги человека как бы автомобильный след.

Ш а л а ш о в к а — лагерница легкого поведения, способная на любовь в непритязательных обстоятельствах.

Ш и з о — штрафной изолятор.

Ш м о н (блатн.) — обыск (глагол: шмона́ть).

Из освещенного фойе зрители входят в темный зрительный зал, где желто неярко светятся только фонари под жестяными колпаками, посаженные как бы на верхушки столбов по всему полукругу барьера оркестра. Столбы выдаются невысоко, чтобы не мешать видеть действие. Они оплетены колючей проволокой, уходящей в оркестровую яму. На среднем столбе — указатель, разделяющий поле наблюдения двух соседних вышек. Охранные лагерные вышки приставлены справа и слева к порталу сцены. На вышках весь спектакль стоят часовые.

Раздвигается (и больше не используется до конца спектакля) обычный театральный занавес, обнажая второй занавес: ткань, грубо разрисованную в плакатный индустриальный пейзаж с мускулистыми румяными веселыми мужчинами и женщинами, трудящимися безо всякого напряжения. В одном из углов этого занавеса еще — радостное шествие с цветами и детьми, с портретом Сталина.

Начиная пьесу, репродуктор дает на гармошке: «Нам песня строить и жить помогает». При поднятии занавеса эта мелодия переходит к гармонисту, сидящему в глубине сцены у лагерных ворот.

Из-за занавеса — резкие удары ломом о рельс.

Фонари «зоны» гаснут на время всего спектакля, до последней картины.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

РАЗВОД

Утро. Скоро взойдет солнце. На крышах бараков белеет иней осеннего заморозка.

Часть зоны лагеря. В глубине она кончается колючей изгородью с предзонником. В ней — двойные ворота: высокие в заборе зоны, низенькие в заборе предзонника. Правее ворот — тесовая будка в а х т ы. Еще глубже, за изгородью — рабочая зона, там — высокое строящееся кирпичное здание, кран «Пионер» сверху на нем, кое-где переносные леса штукатуров. Видна еще кузница, дымящая литейка и другие подсобные постройки.

Откуда-то слева, наискосок к вахте, ведет линейка р а з в о д а, густо заполненная ЗАКЛЮЧЕННЫМИ, мужчинами и женщинами, в грязных изорван-

ных телогрейках. У некоторых женщин брюки, а поверх них — юбка. У самых ворот, где ВАХТЕР с одной стороны и румяный, похожий на боксера нарядчик КОСТЯ с другой пропускают пятерки, хлопая счетными фанерными дощечками крайних по спинам, — развод походит на строй, бригадиры в ответ на выклик нарядчика докладывают номера бригад и численность. Дальше от ворот строя нет, беспорядок, разговоры. Общая вялость, понурость, только ЧЕГЕНЕВ в шутку возится с ДИМКОЙ. Кто-то увязывает обувь, другой доминает утреннюю пайку хлеба, третий зябнет, жмется. В самом хвосте развода выделяется несколько почище одетых производственных придурков, среди них — «шикарно» одетая машинистка ЗИНА и низенький толстый нормировщик ДОРОФЕЕВ. У ворот сидит на табуретке и лениво, не всё время наигрывает марш из «Веселых ребят» ГАРМОНИСТ. О бок развода стоит в белом халате черный фельдшер АГА-МИРЗА, у ног его сидит на земле 1-й ДОХОДЯГА.

Справа — угол стандартного лагерного барака, уходящего своей длиной за кулисы. У торца барака — столб, на нем на проволоке — рельс. Около стоят низенький надзиратель КОЛОДЕЙ и высокий НЕМОВ в долгой, еще новой офицерской шинели без знаков различия и в сапогах. Оба следят за разводом.

Слева близко выступает из-за кулис угол другого барака, в переднем краю его — маленькая дверь с парой ступенек в нашу сторону. Еще ближе — тщательно окрашенный дощаной ящик с крышкой и надписью: «Для отбросов».

На стенах бараков и на отдельных щитах в разных местах зоны — плакаты: «ТРУД ОБЛАГОРАЖИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА», «ТРУД ИЗ ЗАЗОРНОГО БРЕМЕНИ, КАКИМ ОН БЫЛ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ, СТАЛ ДЕЛОМ ЧЕСТИ, ДЕЛОМ СЛАВЫ, ДЕЛОМ ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА» (СТАЛИН). «КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ!»

Видно, как бригады в рабочей зоне тотчас разбредаются и к концу картины начинают работать.

Вахтер. Взяться под руки! Первая! Вторая! Третья!..

Костя *(громко)*. А ну, пятый барак, не фитили! Что, с дрыном давно не заходил? Зайду!

К линейке спешат новые РАБОТЯГИ.

Яхимчук *(от вахты)*. Чегенёв! Шпана!

Чегенев *(у него фуражка надета по-шпански)*. Я шпана! *(Догоняет бригаду.)*

Яхимчук. Малолетка!

Димка. Я малолетка! *(Догоняет.)*

Дорофеев *(вышел из строя, подходит к Немову)*. Родион Павлыч, дельце одно...

Колодей. В армии служил?

Дорофеев. Но ведь здесь не армия, гражданин начальник...

Колодей. Раз-говорчики! Здесь почище армии! Шапку!

Дорофеев *(обнажает лысую голову)*. Гражданин старший надзиратель, младший сержант Колодей! Дозвольте обратиться к зав. производством заключенному Немову!

Колодей. Во-от, давно бы так... не дозволяю!

Дорофеев отходит. Немов идет за ним к строю, там разговаривают.

Ага-Мирза. Давай градусник!

1-й доходяга. Доктор, десять минут надо мерить.

Ага-Мирза. Ты давно такой умный стал? Права качать? *(Берет градусник.)* Нормальная, иди!

1-й доходяга *(не вставая с земли)*. Гусейн Байрамович! В уборную сколько раз бегал...

Ага-Мирза. На кухне работал? Слабинку щупаешь, падло? *(Намеревается ударить, тот встает поспешно.)* Гражданин надзиратель! Тут — отказчик, куда его?

Колодей. В шизо, куда.

Ага-Мирза бьет доходягу ногой, тот уковыливает вслед своей бригаде. Другой ВАХТЕР вызывает Колодея направо. КОЛОДЕЙ уходит. От ворот — ленивые вздохи гармошки.

Из ленты развода слышится:

— Зинка, шлюха, юбку новую надела.

— А юбка-то Маруськина. Комендант с Маруськи снял, как ее на этап отправляли.

— Житье, девочки, с комендантом! *(Поет.)*

Я любила бригадира,
Коменданту угодила
И с нарядчиком спала —
Так стахановкой была!

— Ну всё, с паечкой рассчитался.

— С карантинкой чего не рассчитаться! Вон как бригадир себе и своей гумовнице по килу взял!..

— Бригадир! Развалились лапти! Смотри, лапти развалились, в чем пойду?

— Завтра подкую. ЧТЗ получишь.

Развод подходит к концу. Из двери ближнего барака на ступеньки вышел, потягиваясь, МЕРЕЩУН, полный, солидный человек, еще полуодетый. К нему подходит Ага-Мирза.

Ага-Мирза. Доброе утро, Тимофей Кириллыч!

Мерещун. Ох, что-то я рано сегодня встал. Без бабы не спится!

Ага-Мирза. Сами прогнали, Тимофей Кириллыч.

Мерещун. Надоела, поносница. Ну, чего там в больнице? Полы драили?

Ага-Мирза. Драили всю ночь, правильно драили.

Мерещун. Смотри!.. И еще: в какую тумбочку загляну, если крошки найду — не обижайся.

Ага-Мирза. Валька умрет, наверно, сегодня.

Мерещун. А Матвеев?

Ага-Мирза. С копыт. Уже в морге.

Мерещун. Ну еще б, с такой высоты!.. Потом это, Ага-Мирза! — простыни чтобы подвернуты были. Терпеть не могу, когда простыни не подвернуты. *(Смотрит направо.)* Что это? Этап, что ли?

За их спиной, слева к ящику с отбросами, прокрадывается ДОХОДЯГА С КОТЕЛКОМ. Он — в шинельном бушлате, перепоясанном веревкой, под которую на спине подпущен дужкой немецкий солдатский котелок без крышки. Доходяга открывает ящик, роется там, выбирает пищу и складывает в котелок.

Развод окончился, ворота закрыты. На верхних кирпичах стройки играет первое солнце. Нарядчик с вахтером ведет подсчет, каждый по своей дощечке, нарядчик растолковывает вахтеру. Справа входит КОЛОДЕЙ с парой бумажонок. Следом фырчит автомашина, подаваемая сюда.

Колодей. А ну, кто там? Зав. производством! Ко мне. *(Кому-то.)* Коменданта сюда! И этого... банщика! *(Тот убегает.)* Сейчас та-ак... На́ вот, прочти. *(Дает Немову бумаги.)* Этап привезли.

Немов. Много? *(Читает.)*

Колодей. Четыре машины будет, пока одна пришла.

Медленно задом входит сперва трехтонка с высокими бортами, по видимости пустая, только в передней части кузова стоят, отделенные решеткой, два автоматчика. Они соскакивают и уходят.

Немов. Продаттестат. Удовлетворены по восемнадцатое включительно.

К о л о д е й. По сегодня? Порядок, не кормим. Еще чего?

Н е м о в. Ну, баланды-то бы можно...

К о л о д е й. Как это — баланды? Баланда денег стоит. Вот на работу ты их выведи.

Н е м о в. Сегодня?

К о л о д е й. Неужели завтра? Пусть проценты несут.

Шофер открывает задний борт кузова. Из кабины выходит СЕРЖАНТ КОНВОЯ с пачкой тюремных д е л.

Н е м о в. Да ведь надо по специальностям разобрать, по бригадам раздать, гражданин начальник... Списки составить.

К о л о д е й. Ты — человек или ты чурка с глазами? С утра они у нас, а вечером, может, на лесоповальный участок? Так пусть поработают. У меня н е как у других надзирателей, простоев не бывает. Отмеришь двадцать человек, старшего — и шагом марш! А то начальник лагеря воротится — знаешь, взгрёбка будет? *(Подходит к грузовику.)* Сла-азь!!

Из кузова начинают подниматься ЗЭКИ, до сих пор сидевшие на дне его и не видимые за высокими бортами. Они спрыгивают с вещами, разминают затекшие ноги.

Не ходи! Садись!

ШУРОЧКА, молодая дамочка в яркой городской шляпке, садится по этой команде не на землю, как все, а на чемодан, и возвышается. Колодей с неожиданным проворством подбегает и носком сапога пробивает чемодан.

Ся-адь!!

Шурочка садится на землю. Слева появляется краснорожий отъевшийся БАНЩИК.

Б а н щ и к. Гражданин начальник! По вашему вызову зав. баней явился!

К о л о д е й. Ты... вот что... Белья нет?

Б а н щ и к. Откуда белье?!

К о л о д е й. А мыло?

Б а н щ и к. Не подвезли.

К о л о д е й. Вода-то есть?

Б а н щ и к. Где есть! Перекрыли...

К о л о д е й. Гм-м...

А г а - М и р з а. Еще лучше, гражданин начальник, быстрей вымоем.

Колодей. И то правда. Прожарку топи, прожарку. Как, доктор, ничего, что без воды?

Мерещун. Ничего-о. *(Этапу.)* Сколько дней в дороге?

Голос. Вторую неделю.

Мерещун. Ничего.

БАНЩИК убежал. С грузовика сошло человек тридцать, грузовик уходит направо.

Немов *(внимательно оглядывает прибывших)*. Ваша фамилия — как?

Хомич *(встает. Он в ярко-красном джемпере)*. Инженер Хомич.

Немов. Вот и угадал. Будете старшим мужской двадцатки. Список составите, мне дадите.

Хомич. Есть! *(Садится.)*

Немов *(так же внимательно оглядывает женщин)*. А — ваша?

Граня *(приподымаясь)*. Зыбина.

Немов. Вы — среди женщин старшая!

Гул среди ЖЕНЩИН.

Что такое?

Одна из женщин. Как в воду смотрел.

Другая. Она бригадирша и была.

Немов. Вы что? — все из одного лагеря?

Хомич. Из подмосковского. Фрицев военнопленных привезли, а нас расформировали.

Нарядчик, кончив с вахтером считать по дощечкам, подходит. Слева, из-за барака, входит маленький, очень подвижный ПОСОШКОВ в большом картузе.

Посошков *(отдавая приветствие)*. Посошков, шесть вершков!

Колодей *(смеется)*. Хвастаешь при бабах... Сейчас, комендант, вот что: мы их — выкликать по делам, а вы с нарядчиком сразу шмонайте, я вам доверяю. Только правильно шмонайте!

Посошков *(кричит)*. Женщинам — от пояса раздеться!

В этапе смех.

Сержант конвоя. На, вычитай!

Колодей. Я не читатель. Ты вычитай.

Мерещун наблюдает от своей двери. Нарядчик и комендант становятся к нему спиной, лицом к этапу. Среди них всех доходяга с котелком продолжает ковыряться в отбросах. Немов — около Колодея. По мере того, как сержант выкликает, этапники проходят обыск и переходят налево.

Сержант. Не... гне... не... гне...

Люба. Негневицкая?

Сержант. Понавыдумают фамилиев.

Люба. Негневицкая Любовь Степановна, 23-го года, пятьдесят восемь-десять, восемь лет.

Колодей *(враждебно)*. Агитация?

Люба *(Посошкову, который при обыске берет ее за грудь)*. Не лапай, не купишь.

Сержант. Сойкина.

Шурочка. Соймина Алексан-на Пал-л-на! 1917-го, пятьдесят восемь-двенадцать, десять лет!

Колодей *(угрюмо)*. Недоносительство?

Сержант. Зыбина.

Граня. Аграфена Михална, 20-го года, сто тридцать шестая, десять лет.

Колодей *(кивая)*. Убийство.

Сержант. Х... Хомач.

Хомич. Хомич Борис Александрович, 10-го года, закон семь восьмых, десять лет.

Колодей *(широко улыбаясь)*. Сколько хапанул?

Хомич *(уже со шмона)*. На передачи хватает, гражданин начальник!

Колодей. Моло-одчик.

Посошков *(берет Граню за грудь)*. А здесь чего насовала!

Граня резко ударяет его локтем, заставив пошатнуться. Проходит. Выкликание продолжается беззвучно.

Мерещун *(Любе, которая села на вещах неподалеку)*. Девочка!

Люба. А?

Мерещун. Давно сидишь?

Люба. Хватает.

Мерещун. Подженимся?

Люба. Так и сразу?

Мерещун. А что теряться?

Люба. Я не дешёвка.

Мерещун. Я не дешево и дам. Вот здесь я живу. Кабинка моя. Чтоб ты знала.

Люба. Ну и живите.

Мерещун. Скучно.

Люба. Санитарок мало? *(Отворачивается.)*

Мерещун некоторое время смотрит на нее, потом замечает Хомича.

Сержант *(силясь прочесть)*. Тьфу, будь ты проклят, где вас берут!.. Гоп... Гоп...

Гонтуар *(это широкоплечий старик с серебряной сединой, хотя и остриженный)*. Гонтуар Камилл Леопольдович, 1890-го года рождения, статья пятьдесят восемь-один «А», через девятнадцатую, десять лет.

Мерещун *(Хомичу)*. Свитер у вас хороший. Цвет мне нравится.

Хомич *(еще не одевшись после обыска)*. И вообразите — не линяет! Попробуйте матерьяльчик! *(Дает пощупать.)* Заграничный! Знаете, кто его носил? Сын шведского миллионера!

Мерещун. Да что вы?!

Хомич. Представляете, такой интересный номер: сидим на Куйбышевской пересылке, жара, сто человек в камере, я — в одних трусах, он — в свитере и шерстяных брюках, говорит: изнемогаю, где бы мне в Советском Союзе достать трусы? Я говорю: для сына миллионера у меня есть запасные, немножко рваные, махнём на свитер, не глядя? Махнули. А вот попробуйте, оденьте. Тепло, мягко.

Мерещун. Давайте примерю, интересно, сын миллионера... *(Надевает.)*

Сержант. Семенов! Семенов!!

Молчание.

Фиксатый *(одетый пестро, франтовато, без вещей, встает, подходит с медленной раскачкой)*. Наверно, буду я.

Сержант. Он же?!

Фиксатый. Макаров.

Сержант. Он же?!

Фиксатый. Балтрушайтис.

Сержант. Он же?!

Фиксатый. Прибыленко.

Сержант. Статьи!

Фиксатый. 162-я, 165-я, 136-я, пятьдесят девять-три.

Сержант. Срок?

Фиксатый. Пять лет.

К о л о д е й. Работать будешь?

Ф и к с а т ы й *(нараспев)*. В посылочной — могу... Сам знаешь, начальничек, по субботам мы не ходим на работу, а у нас суббота — каждый день.

Н е м о в *(командно)*. И спрашивать нечего — будет! Куда он денется?

Фиксатый обертывается к Немову, смотрит молча, проходит к нарядчику.

П о с о ш к о в *(вытряхивая на землю чемодан Гонтуара)*. Смотри, гражданин начальник, книг понапихано, бумаги. Его — р а б о т а т ь прислали, или что?

Колодей идет на зов, начинает оглядывать книги.

Ф и к с а т ы й *(нарядчику)*. А ты кто? С у к а?

К о с т я. В з а к о н е? *(Дает ему знак пройти без обыска.)*

Х о м и ч. Вообще этот сын миллионера имел на пересылке бледный вид. Такой интересный номер — ему хотели помочь перековаться, отмежеваться от западного мира вообще и от отца-кровопийцы в частности...

К о л о д е й. И буквы какие-то не наши. Ты не шпион?

Г о н т у а р. Я — ветеран и инвалид двух мировых войн!

К о л о д е й. Немец?

Г о н т у а р. Я?? Я даже такого слова не знаю — «немец». Мой родной город сожгли б о ш и ! !

К о л о д е й *(не дослышав)*. Наши? Значит, надо было, раз сожгли... *(Погружается в раздумье.)*

Х о м и ч. Нет-нет, не снимайте, возьмите себе. У меня барахла хватает.

К о л о д е й. Ты к чему это сказал, что — инвалид? Чтоб не работать? Я в Спасском лагере был, так там четверых однруких соберут, чтоб у двоих — правая рука, у двоих — левая, и — носилки им с камнями. Ничего, носят...

М е р е щ у н. Ну, спасибо, хороший свитер. Вас как зовут, не спросил.

Х о м и ч. Борис.

М е р е щ у н. Вы вечерком зайдите ко мне в кабину, поговорим. Надо вам устраиваться.

Х о м и ч *(легко)*. Очень благодарен. Но я трагедии не делаю. Талантливый человек нигде не пропадет!

Ф и к с а т ы й *(доходяге с котелком)*. Ты!

Доходяга по-прежнему роется в мусорном ящике.

Ты!

Доходяга роется.

Человек!

Доходяга оборачивается.

Этот в шинели — что за Рокоссовский?

Доходяга с котелком. Новый. Неделя, как приехал.

Фиксатый. Вольняга?

Доходяга с котелком. Какой вольняга! Зэк. *(Продолжает копаться.)*

Фиксатый *(глядя на Немова)*. Зэ-эк? *(С угрожающими жестами.)*

Немов видит их.

У, фашистская морда, глаза выколю!

Чмута *(кричит с той стороны ворот)*. Зав. производством! Опять фронта работ нету! Опять люди сидят!

НЕМОВ спешит в производственную зону.

Зав. баней *(входит слева перед бараком, бьет доходягу ногой)*. Опять копаешься, зараза?

Доходяга падает от удара, ухрамывает.

Товарищи бытовики и господа фашисты! Прожарка готова! Пошли!

Движение, начинают уходить налево с вещами.

Гонтуар. Кому мешают мои книги? Книги не запрещены.

Колодей. Ка-ак это книги не запрещены? Кто-о это тебе сказал, что книги не запрещены?..

Разрисованный занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

ЛИТЕЙКА

Высокое помещение литейки. Подходит к концу плавка. Большая часть плаца — в грудах обгорелой земли, в ней мало заметны готовые детали. Сизо, курится легкий дым от отливок. Под потолком гудит труба вентилятора.

Справа в глубине — круглая рыже-железная вагранка, уходящая в прорезь железного потолка; ближе — кирпичная неоштукатуренная сушилка с железной дверью в сторону зрителя. На плоской крыше сушилки набросан хлам, проволочная арматура, старые опоки, худые ведра, дырявые валенки.

Перед сушилкой — дверь направо.

Еще двери: слева — наружный вход, в центре сзади — в склад кокса и чугуна (при открытии этой двери видна лестница к верху загранки).

На низенькой скамеечке у сушилки сидит БРЫЛОВ и непрерывно курит цигарки. На нем синеватый форменный сюртук и затасканная зимняя шапка. Литейщики — огромный лысый ЯХИМЧУК, толстый низенький МУНИЦА, юркий гибкий ЧЕГЕНЕВ и мальчишка ДИМКА работают быстро, слаженно, понимая друг друга без слов. Бегают без суеты. Лопаты, ломы и счищалки как будто разбросаны, но они — на нужных местах, и каждый знает — где. Все в изорванных брезентовых брюках, голы до пояса, на Чегеневе — лихо надетая рваная фуражка.

При раскрытии занавеса Яхимчук большим ломом, как пикой, пробивает заткнутую лётку вагранки. Чугун струей огня выливается по жёлобу из вагранки в ковш. Когда ковш полон, Яхимчук другой пикой затыкает лётку. Чегенев снимает счищалкой шлак. Они подхватывают ковш за ручки длинного рогача, несут к опокам. Муница выбивает готовое литье из опок, Димка относит опоки, штабелюет. Вторая из опок, заливаемых после поднятия занавеса, «закипает»: металл выбрызгивает. Муница заслоняет лопатой лицо Яхимчука, Димка — лицо Чегенева. Брылов кричит не слышное при гуле, машет руками, встает, пошатываясь.

В левую дверь быстро входит ГУРВИЧ, стройный черный, с развевающимся плащом, за ним усталым шагом — НЕМОВ. Металл перестает выбрызгивать, опоку заливают до конца, уносят ковш.

Муница *(на опоку)*. А, проститутка! Закыпила!

Яхимчук *(перекрывая гул)*. Я вам казав, шо шишка сырая!

Муница. Ни, нэ сыра! Ни, нэ сыра!

Яхимчук. Так от чого? от чого?

Муница. То мэни́ видо́мо, от чого.

По знаку Гурвича вентилятор выключают.

Чегенев. Макар, не спорь, сам виноват. Ведь я говорил — еще сутки посушим.

Брылов. Ну, Чегень, ну с кем ты заводишься? Макар и не прав, так прав.

Муница *(запальчиво)*. А я вам казав: на ци до́лги балки мусим вы́поров бильш давать и воздух!

Гурвич. Так почему не дали? Почему не дали? Что тут, старшего нет? Ты, Брылов, тут что? — для мебели?

Брылов. Я, Арнольд Ефимыч, свою линию веду, я — руководитель.

Гурвич. Ай, ты сегодня норму перехватил, вторые поллитра дербанул.

Брылов. Не на ваши деньги.

Гурвич *(зорко оглядывая плац).* Та-а-ак. Швейную машину опять отлили? Утюгов сколько?

Муница *(с запалом).* А ни жодного! А ни жодного!

Гурвич. Макар! Проверю! Здесь — что? *(Показывает на залитую, но не выбитую опоку.)*

Муница. Ролики.

Гурвич. А здесь?

Муница. Плиты.

Гурвич *(энергично).* А ну-ка выбей! Выбей! *(Немову.)* Слушайте, как вас там, зав. производством! Вы чем в нарядах копаться да по пятам у меня ходить — вот смотрите: литейщиков прикрутить надо, это тé халтурщики, заелись, каждую плавку из государственного чугуна налево отливают!

Немов *(сдержанно).* Хорошо, выясню.

Брылов. А ты поймал хоть раз? Хоть раз поймал? Эх, Арнольд Ефимыч! Кабы на твою хитрость да не наша простота!

Муница, осторожно выбив опоки, вытягивает кочерёжкой из земли еще краснеющие детали: ролики и тонкие плиты.

Брылов. Ну что? Взял?

Гурвич молчит.

Зря литейщиков не хай! Не хай! Тут я смотрю! Я не допущу!

Гурвич. Да, ты смотришь! Месяц пьян, день на ногах. А если не твои литейщики льют, так откуда утюги во всем поселке, в какой дом ни зайди?

Брылов. Чего ж, снабжение улучшается! Может, ОРС завез. Или потребкооперация...

Гурвич. Потребкооперация завезет, жди!

Заключенный *(в дверях).* Арнольд Ефимыч! Вас к телефону! Из треста.

ГУРВИЧ стремительно уходит, развевая плащом. Яхимчук снова выбивает лётку вагранки. Но чугун течет чуть-чуть и прекращается.

Яхимчук. Э-э, плавка вся. На те опоки не стало. *(Выбивает подпорку из-подо дна вагранки.)*

Брылов *(вслед Гурвичу)*. Мальчишка! Указывать он мне будет! Моя кляча, куда хочу, туда и пячу. Вишь ты, зав. производством, на литейщиков какая худая слава! Чтоб я, Брылов, позволил ребятам налево лить? Да ни в жисть! Это ж подсудное дело.

Яхимчук. А пойдемте, зав. производством, я вам покажу, какая тут техника безопасности. Тонны чугуна на высоту пять метров поднимаем ведром, от руки. Кому-то голову пробьет, это точно. *(Уводит Немова в заднюю дверь.)*

Брылов *(едва они вышли, живо)*. Макар! Во́ Арнольд — волкодав! Во́ нюх у него! Точно кинулся! Под землей чует.

Муница *(смеется)*. Ще вин молодый мэно́ схопыть! Димка! На стрёму! Чегень!

ДИМКА выбегает в левую дверь, Чегенев с лязгом открывает дверь сушилки, и они с Муницей в том самом месте, где показывал Гурвич, яростно выкапывают из земли второй скрытый слой опок, вытаскивают из них узорчатые детали станка ножной швейной машины, два паровых утюга, несколько простых и быстро сносят всё на крючках и кочерёжках в сушилку, чернеющую глубиной. Захлопывают ее. По свисту Чегенева возвращается ДИМКА. Он хлопочет около кастрюли, в которой что-то варится у него на отлитой детали. Муница подсаживается к Брылову.

Муница. Ще такий чоловик нэ родывсь, щоб Макара тутаки в литейке попутать.

Брылов. Машина швейная — хорошая?

Муница. Перший кляс! Макар формував!

Брылов. Сегодня ночью ту, окрашенную, заберут, а эту вы приготовьте к субботе. Сколько ж я вам должен? Сорок, да за три утюга...

Чегенев. Вы, Онуфрич, масла нам купите и крупы.

Брылов. Масло, ребята, сейчас только конопляное. Вы думаете, в поселке как? Тоже сосаловка. В магазинах водка да спички. И спички-то такие, что не горят. Из чего их делают?

Чегенев. Ну, крупы, крупы!

Брылов. Как выбросят, так бабу в очередь пошлю, сделаем... Что это зав. производством ваш — гордо себя ставит?

Димка. На всю дорогу не хватит!

Включает вентилятор. Чегенев моется из бочки в глубине. Из заднего помещения возвращаются НЕМОВ и ЯХИМЧУК, в левую дверь все так же

стремительно входит ГУРВИЧ. Собираются у сушилки, но разговор слышен лишь, когда Димка по знаку выключает вентилятор.

Брылов. Бронзу, Арнольд Ефимыч, плавить нам не в чем. Графитовые тигли, какие от английской концессии остались, прохудились, а сварные все текут.

Гурвич. Но выход должен быть? Экскаваторы на резерве стоят, фронтовые втулки полопались!

Брылов. А я что вам тигли — рожу́, что ли? Давайте командировку на Урал, толкачом поеду.

Гурвич. Какую тебе командировку? Тебе пять рублей дать нельзя, ты пропьешь.

Брылов. Ну, пишите! Отношения пишите! Пришлют вам тигли на тот год в эту пору...

Немов. Гражданин прораб! Я решительно...

Гурвич *(отводя Брылова)*. Слушай, Брылов, ты же — паразит, понимаешь, гнусный паразит! Ты получаешь полторы тысячи за руководство цехом, ты сверх того две с половиной тысячи отгребаешь за литьё — за что?

Брылов. Позавидовала кошка собачьему житью!..

Гурвич. Ты не формуешь, не льешь, всё ребята делают — неужели ты за это время не мог заранее позаботиться? Душа у тебя не болит за производство!

Брылов. У меня не то что душа, Арнольд Ефимыч, — все печёнки уже болят... Вот сон мне давеча нехороший приснился...

Гурвич. Да пошел ты вон со своим сном! Ты...

Немов *(приступая)*. Гражданин прораб! Я решительно обращаю ваше внимание на средневековую технику подъема чугуна. Разбитое ведро, из которого куски чугуна прямо вываливаются, — да вы считаете, что заключенные — это не люди?

Гурвич. Слушайте, вы́ — не занимайтесь агитацией! Не читайте мне морали! Я здесь на производстве три года...

Немов. Тем хуже!

Гурвич. ...а вы — три дня, и не суйтесь указывать! Вы должны по-мо-гать работать, а вы мешаете! Вы пойдите проверьте строительные бригады, вы поднимитесь на крышу — лежат, сукины дети, не работают! Вот кровное дело! А здесь без вас обойдется.

Немов. На крышу я пойду...

Гурвич. Вот и идите!

Немов. Но и здесь не оставлю! Напишем акт и закроем литейку.

Муница *(взрываясь)*. А нам — шо? З лопатами — траншеи копать? А хто мэни́ пайку кило двисти выпишэ?

Чегенев *(отзываясь из бочки)*. Фамилия? Килодвести. Имя-отчество? Два-Дополнительных.

Брылов *(Немову)*. А ты кто за птица литейку закрывать?

Гурвич. Черт возьми! Да я до вашего акта напишу записку в лагерь — вас завтра на лесоповал пошлют! Тут экскаваторы стоят, а вы про ведро! Так что будем делать, литейщики?

НЕМОВ растерян дружным отпором. Некоторое время он стоит молча. Потом нерешительно идет к выходу. Передумав, уходит опять в заднюю дверь.

Муница. У нас за Румынию на заводи була пичь для бронзы, робыла на солярке. Сто килограмм за яких два часа плавила.

Гурвич. Ну вот! Ну вот! Значит, можно сделать? Чтоб Макар да не смог! Макар! Сложишь печку?

Муница. Чому не сложить. Складу.

Гурвич. Макар! Премию получишь! Большую премию!

Брылов. Ох, Макар, берешься! За всё берешься. Сколько литейками руковожу, еще никогда такой печи не видел.

Гурвич. Ты — кто? Ты начальник цеха или кто? Ты что́ у людей инициативу убиваешь? Давай, Макар, а? Макар?

Муница. Ну, добре, складу вам пичку! Складу!

Гурвич. В каком месте поставим? Вон там. *(Показывает.)*

Входит ГАЙ. Он не высок, но могуч. Он, как и Немов, в военном еще обмундировании, но потертом и попачканном, в брюках галифе и сапогах.

Гай. Арнольд Ефимыч! Растворомешалка-то опять стоит. Не могу ж я...

Гурвич. Как стоит? Почему стоит? *(Устремляется к выходу.)* Давай, Макар, давай! Премия будет!

Гай направляется за Гурвичем, но Чегенев останавливает его свистом. Они выходят вперед.

Чегенёв. С Игорьком — связь.

Гай. Он — в шизо?

Чегенёв. Да. В одиночке. Сегодня мой дружок дневалил там и...

Гай. Надо ему хлебца подбросить.

Чегенев. Уже. И бумагу с карандашом, как он просил.

Гай. Мотают? Второй срок?

Чегенев. Мотают.

Гай. Кто его заложил, — ты узнал?

Чегенев. Фельдшер, Ага-Мирза. В больнице из-под подушки что-то у него вытащил — куму отнес.

Гай. И из больницы, туберкулезника — в подвал?!

Чегенев. Еще и Посошков показания дает.

Гай. Сколько сволочей, Гришка! Сколько сволочей!

Чегенев. Не выживет Игорёк. Письмо написал домой. Прощается.

Гай. Жене?

Чегенев. Сестре. Жены еще не было. Отца в тридцать седьмом расстреляли. Мать в лагере умерла... Ну, за горло берут. Что ж делать, Пашка?

Гай. А что мы можем делать? Запоминать...

Чегенев. Сейчас письмо отправлю.

ГАЙ уходит. Чегенев ловко взбирается на сушилку, роется.

Муница *(Яхимчуку)*. Як, Николай, складэ́м? Хо́дко складэ́м! *(Хлопает себя по ляжкам.)*

Яхимчук. Та то вы темите, вы и кладить. Я нэ хтив браться. Мэни прэмия нэ потрибна.

Чегенев на сушилке достает запрятанный конверт, спрыгивает.

Брылов. Я не знаю, что ты за человек, Макар? Вот уж говорят: сдуру, как с дубу. Ребята! Ну неужели мы плохо живем? Нормы я вам отхлопотал божеские. Пятнадцать лет я по лагерям работаю, одиннадцать новых литеек поставил и всегда с заключенными хорошо жил. Ну чего вам не хватает? Пайка у вас в лагере первая, каши — две, двести один процент, утюги налево гоним, шмотки казенные загнать на волю? — я никогда заключенным не откажу. Письмо бросить? — давай хоть сейчас.

Чегенев подает конверт, Брылов прячет в карман.

Вы работаете — и мне хватает. Нос помочить.

Чегенев. Макар в сталинские лауреаты метит.

Брылов. Не, правда, ребята: на Игарке я литейку ставил, в Тайшете ставил... Ведь как хорошо: нет тиглей — и спросу нет. Пока ко́кос есть, чугун есть, льем себе помалу, и вам хватает, и мне. Лёжа кнута не добудешь. А поставь ты печь, да пойди бронза — так Арнольд со спины не слезет: давай да давай! Ведь я-то

знаю, ребята! Я-то знаю! На неделю будешь пять раз лить, закружишься — то втулки, то хаюлки, а процента не будет...

Димка устанавливает посреди литейки подставку вроде столика и вокруг нее — опоки, как стулья.

Чегенев. Какой процент! Заплатят по весу, как за чугун, это ясно. Так балка — полтонны, а втулка — полкило. Попухнем мы, Макар, на твоей печке. Брось.

Брылов. Да никто такой печи!.. А какие мастера были! Бабушкин был, Царство ему Небесное! Уж теперь таких... В двадцать третьем году меня из литейки выгнал за то, что я под Пасху у старух куличи выбивал. Потомственный пролетарий, ничего не боялся. *(Закашлялся сильно.)* Вот сон мне, ребята, худой приснился...

Яхимчук. А вы, Онуфрич, пойдите поспите, может, хороший увидите.

Брылов. Пойду, правда. *(Поднимается.)*

Яхимчук. Так насчет масла, Онуфрич!

Брылов. Будет! Сказал — будет! У Брылова — святое слово. Спросит меня Арнольд — скажите, в Первое СМУ пошел... Или во Второе...

Яхимчук. Скажу, по профсоюзным делам вызвали.

БРЫЛОВ уходит.

Сегодняшнюю швейную машину, друзья, не обрабатываем, подзадержим. Что-то Брылов с деньгами резину тянет.

Димка. Крупу принес вонялую, наверно — для свиней держал.

Сзади входит НЕМОВ. Он подавлен. Он нерешительно идет в сторону выхода. Димка выносит чугунок на середину.

Яхимчук. Что, зав. производством, вы приуныли?

Немов. Да что-то я, товарищ Яхимчук... *(Берется за голову.)* Что-то я... Честное слово, на фронте, оказывается... легче.

Димка. Ну, семейство! Каша готова!

Немов. Семейство?

Димка. Это — мой батя, это *(на Мунщу)* — моя мамка, а это *(на Чегенева)* — братуха. Житуха!

Яхимчук. Садитесь с нами кашки поесть.

Немов. Да нет. Спасибо...

Яхимчук. Чего спасибо? Кто в лагере есть не хочет? *(Бе-*

рет за плечо.) Садитесь, не обидите. Мы себе живем потихоньку, перебиваемся.

Немов по ошибке едва не садится на горячую деталь.

Димка *(кричит).* Э! Прожжетесь!!

Все садятся, кроме Муницы, разглядывающего место будущей печи.

Яхимчук. Ну, Макар! Сидайте. Желтэнька магара, як мамалыга.

Муница *(не идет).* Нибы вы добру мамалыгу колы йилы...

Чегенев *(Немову).* Ты — с фронта прямо?

Немов. Да.

Чегенев. Балалаечник?

Немов. Называют.

Чегенев. Трень-брень, антисоветская агитация?

Немов. Я так не считал. Посчитали так.

Яхимчук. Ну, Макар, починаем без вас.

Муница *(идет).* Як то без мэнэ? Як то без мэнэ? *(Садится.)*

Начинают мерно черпать кашу. Немов ест с трудом.

Яхимчук. Вы — ешьте, ешьте! Кто в лагере задумывается начинает, тот срока не доживет.

Немов *(роняя ложку).* А как тут дожить? Как вообще тут можно — жить?! *(Застывает.)*

Литейщики мерно черпают кашу.

Разрисованный занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

РЯБИНА

Дальний уголок строительной зоны. Слева, чуть наискось, идет строящееся кирпичное здание без следов плотницкой работы в оконных и дверных проемах, — то здание, которое с другой стороны зритель уже видел в 1-й картине. Сейчас оно близко, и что выше трех этажей — уходит в высоту. На втором этаже, из глубины его иногда — мигающие вспышки электросварки. Позади сцены — столбы, колючка зоны и предзонника, на повороте забора, на углу — безобразная тесовая вышка с часовым — всё так же, как и с

нашей стороны. Еще дальше, сквозь все проволоки, сколько хватает глаза — голая степь, по небу — редкие высокие облака. Где-то далеко работает экскаватор — сюда доносится его характерное повизгивание.

Слева, у самого здания, — большая кучка строймусора, ближе — невысокий штабель горбыля, на котором сидит около десятка женщин нового этапа, уже переодевшихся в грубые рабочие одежды. Справа — штабель бревен, и на них — десятка два мужчин из нового этапа, все — в изнеможенных телоположениях. Посреди — большой предмет, вроде ковша экскаватора, ржавый, обросший травой.

Разогретый октябрьский день после полудня. Солнце светит справа.

Л ю б а *(тоскливо поет при раскрытии занавеса).*

Там через дорогу, за рекой широкой,
Там же одиноко дуб стоит высокий.

Как бы мне, рябине, к дубу перебраться?
Я б тогда не стала гнуться и качаться.

Ж е н щ и н ы *(не поднимаясь, не шевелясь, подхватывают).*

Тонкими ветвями я б к нему прижалась
И с его листвою день и ночь шепталась.

Но нельзя рябине к дубу перебраться,
Видно, сиротине век одной качаться.

О д н а и з ж е н щ и н. Мне почудилось — журавли улетают, а это экскаваторы курлычат.

Д р у г а я ж е н щ и н а. А и нехитрое дело, если журавли. Зима, девоньки, зима, припасайте потеплее.

Ш у р о ч к а *(ни к кому).* В третий лагерь я приезжаю, и вот этот первый день — самый страшный. Не день, а год... Двигаться — нет сил...

3-я ж е н щ и н а. Вот завезли... Вот завезли...

2-я ж е н щ и н а. Это еще — не завезли. Где картошка в поле растет — это еще лагерь считается б л и ж н и й. Тут железная дорога близко, сюда — посылки круглый год и на свидания приезжают. Подожди, в Норильск отправят — там навигация полгода, закон.

Г р а н я *(Любе, продолжая).* Я ведь даже семи классов не кончила, а он об-ра-зо-ван-ный! доцент! И какая-то наука у него — египетские вазы разные, кувшины... У нас и дома много стояло. Такой он был нежный, а я что? — баба рязанская.

Л ю б а . А, брось. Нежных мужчин не бывает. Им только э т о нужно, больше ничего.

Г р а н я . Не говори, Люба, это тебе попадались такие... Ну, война началась, всё у нас навыворот: мужа не взяли на фронт, а меня по комсомольской линии да по авиахимовской, — я стрелок ужасный. За два года он мне писем написал — тысячу!

Л ю б а . Ты кем же была?

Г р а н я . Снайпером, потом командиром взвода, младшим лейтенантом.

Л ю б а . Фу, так ты на фронте...

Г р а н я . Нет! Именно нет! Поверишь?

Л ю б а . Никогда не поверю!

Г р а н я . Ведь я же понимала, что такого счастья второй раз мне не будет!.. И вдруг соседка пишет, что он связался с какой-то шлюхой опереточной. Меня как обожгло! — да не поверила я! У комдива отпросилась, на самолет, в Москву! Рано-рано, только солнце всходило, прямо вышибла дверь и вошла в комнату. И на м о е й постели он с ней лежит. Я даже подумать не успела, только выхватила ТТ и — трах его на подушке!

Л ю б а . Насмерть?

Г р а н я . Пять минут жил.

Л ю б а . А я бы — ее! ее!

Г р а н я . Нет, именно е г о , раз понимать не может!.. А сейчас жалею... Плохим-то я его не знала, только в то утро...

Л ю б а . Вот я и говорю, что им только э т о нужно.

Г р а н я . Не может быть! не может быть!

Слева входят: стремительный ГУРВИЧ, развевая плащом; десятник ФОМИН — низенький старик с большими усами; и ХОМИЧ. За ними — НЕМОВ, в шинели.

Г у р в и ч . Фомин! Почему люди сидят? Что, у нас работы нет? Я сказал — дать работу!

Ф о м и н . Какую я им работу?..

Г у р в и ч . Ну, хоть... траншеи копать.

Ф о м и н . Поставил десять человек, больше лопат нет.

Г у р в и ч . Почему ж нет? Странно.

Ф о м и н . Странно было б, если б были! Сейчас черенки насадят — еще пять будет.

Н е м о в *(подавлен, говорит через силу).* Товарищ прораб. Как же мне людей процентовать? А тогда акт простоя составлю.

Гурвич *(резко)*. Ну, и пойдете с ним в уборную, я не подпишу! Мы заявки на дополнительных людей не давали?

Немов. Но люди приехали...

Гурвич. Да какое мне дело? Мы их не просили. Вообще слушайте... Учтите — такие законники, как вы, — долго в лагере не живут!.. Фомин! Вот эту кучу мусора перенести... *(Озирается.)* Вон туда! *(Показывает вглубь, в правый угол.)* Вот этих женщин поставишь.

Фомин. Да носилки все у каменщиков!

Гурвич. Почему запасных нет?

Фомин. А вы мне тёсу расход подписали? Трясетесь над каждой доской.

Гурвич. Бухгалтерия жмет, что я могу сделать? Возьми у каменщиков четверо носилок.

Фомин. А кирпичи чем подносить?

Гурвич отмахивается. ФОМИН, ГРАНЯ и еще две ЖЕНЩИНЫ уходят.

Гурвич. Мужской бригады кто старший — вы?

Хомич. Инженер Хомич.

Гурвич. Вы инженер?

Хомич. Строитель.

Гурвич. Это хорошо. Впрочем, у меня инженеры тоже землю копают, что поделаешь. Даже академик тут один был. Заболел.

Немов. Я слышал — умер.

Гурвич. Не знаю, не знаю. Забирайте своих мужчин и вон туда *(показывает налево)* идите. Найдем сейчас работу, найдем, расставим.

Хомич *(резко командно)*. Ар-тисты!! Кон-чай Ташкент! Пошли вкалывать!

Мужчины тяжело поднимаются.

Голоса. Три дня должны в карантине держать!

— Не должны на работу гнать!

Уходят все МУЖЧИНЫ и НЕМОВ.

Гурвич *(описал круг около ковша, всё зорко оглядывая)*. Алё! Девушка! Подойдите!

Люба подходит.

Вы из нового этапа?

Л ю б а . Сегодня привезли.

Г у р в и ч . У вас как... ноги... хорошие?

Л ю б а . А... в каком смысле?

Г у р в и ч . Мне нужна посыльная в контору. Будете бегать по всем этажам, по всему двору. Кабинет мне уберёте. Обед сготовите. Я в перерыв не успеваю домой. Сумеете?

Л ю б а . Я — всё умею!

Г у р в и ч . Вы мне нравитесь. Пошли сразу, в курс дела введу.

Слева быстро входят ЧМУТА и ФОМИН.

Ч м у т а *(кричит)*. Я п о н о в о й штукатурить не буду! За два раза оштукатурили с перетиркой!..

Ф о м и н . Ну, не загибай, Чмута, — без перетирки.

Ч м у т а *(громче)*. Как без перетирки?! Давайте комиссию по качеству!!

Г у р в и ч . Да что случилось? Замолчи ты, Чмута!

Ч м у т а *(еще громче)*. Никогда я не замолчу!! Я — горой за работягу! *(Тихо, спокойно.)* Дай закурить, десятник.

Ф о м и н *(дает)*. Что прораб по электромонтажным смотрит? Скрытой проводки не сделали в срок, теперь электрики пришли и в штукатурке канавки рубят для проводки, панели дверные поцарапали, а они окрашены...

Ч м у т а *(опять горячась)*. ...за два раза!

Ф о м и н *(отмахиваясь)*. ...за один раз!

Ч м у т а *(кричит)*. Всю дорогу бардак! Еще сантехники придут батареи переставлять, шлямбурами стенку долбать, точно!!

Г у р в и ч *(Любе)*. Ищите, ищите Кузнецова!

Л ю б а *(мгновенно входя в роль, громко кричит, убегая)*. Кузнецо-ов! Кузнецо-ов!!

Г у р в и ч . Разболтаи! Халтурщики! Пьяницы!

Стремительно уходит, за ним ФОМИН.

4 - я ж е н щ и н а *(вскочив проворно)*. Бригадир! Дай докурить!

ЧМУТА еще затягивается, отдает, шлепает ее, уходит.

Ш у р о ч к а . Спаси нас, Боже, от такого бригадира! «Горой за работягу» — а сегодня, видели? — свалил работягу и ногами бил.

2 - я ж е н щ и н а . А почему, думаешь, бригадиры по пятнадцать лет в лагерях выживают? На нас они и выживают.

1-я женщина. Вот Любке повезло! И — филонить, и будет чего пожрать.

4-я женщина. Повезло! Чего ж тебе не повезло?

3-я женщина. С ее жизнью — еще год-два, на нее уж и смотреть не будут.

4-я женщина. А ей два и осталось: зима-лето, зима-лето.

3-я женщина. Ну, а на волю выйдет?

1-я женщина. Катенька! До воли дожить надо.

4-я женщина. Она и на воле не пропадет. Это всегда так. Как после войны мужиков ни мало, у одной всегда будет в о́ *(показывает по горлу)*, у другой — ни одного.

Возвращаются ГРАНЯ с двумя ЖЕНЩИНАМИ, неся трое носилок, лопаты, деревянную и совковую.

Граня. Ну, девчата, день — до вечера, давайте ковыряться. Шесть носят, двое нагружают... А кого нет?

3-я женщина. Любку прораб в контору забрал.

Граня. Чего делать?

2-я женщина. Не понимаешь?..

Женщины разбираются и начинают носить мусор помалу, похоронно-медленными движениями, подолгу останавливаясь у мест нагрузки и разгрузки. Сперва еще слышны разговоры.

Одна из женщин. Ну что этой лопатой делать, что? Она в кучу не лезет.

Граня *(садясь у ковша)*. Да как-нибудь, черт с ней, менять-ся будете. Уголком цепляй.

1-я женщина. Девчата! Неужели ужинать не дадут?

Шурочка. Конечно, нет. Ты слышала, ОХРА сказала, что столыпинский конвой оформил нам, будто мы удовлетворены по сегодня.

1-я женщина. Но как это можно? Мы ж не получали!

2-я женщина. Посидишь — узнаешь.

4-я женщина. В лагере — всё можно!

3-я женщина. Подавились бы они этим селедочным хвостом, гады!

Входит ХОМИЧ, идет к задумавшейся Гране, садится неподалеку от нее.

Хомич. Ну, Граня, как тебе лагерёк?

Граня молчит.

Доходиловка подходящая. Хотя, как говорится, если работяга в ложке нуждается — это еще лагерь хороший. Доходиловка — когда миску пьют через бортик.

Граня молчит.

Попухли мы на этом этапе. Всё производство обошел — ничего не могу выдумать. Придется там, в зоне, комбинировать. Уже врач у меня на крючке.

Граня. Зачем ты мне это всё говоришь?

Хомич. А кому мне говорить? *(Пауза.)* Четыре года я в лагерях сижу — дня на общих не работал и не буду! По трупам пройду — но устроюсь.

Граня. Я знаю.

Хомич. Ты таким тоном, будто меня упрекаешь. На твоей совести, наверно, побольше.

Граня. Может, и больше. Но как-то н-не так. Я не могу объяснить, но н-не так...

Хомич. Да то же самое! Война ваша проклятая! Подлый предрассудок! Десятки людей ты подстрелила — тебе за это ордена на грудь, и ты фасонишься. А первого лично хлопнула — тебе десять лет. *(Не давая возразить, горячо.)* Оставь эту дурацкую честность! Еще никто честный срока не досидел. Ты — первый год, ты еще не поняла. Сегодня же вечером я начну действовать. Я сделаю всё — для своих!

Граня. Делай — для одного...

Хомич. Я выстелю тебе лагерь так — ты не заметишь, что здесь проволока! Тебе еще десять лет сидеть, Граня, подумай! Ты на воле б только рот разинула, когда б я мимо тебя на машине пронесся. Я инженер, я талантливый человек, я концентрированная энергия, блестящий собеседник, ты не понимаешь этого, — кем бы я был, если бы не сел!

Граня. На что мне твой ум? На что мне твой ум?

Хомич. Ты фронт забудь! И волю забудь! Здесь — свои законы жизни. Здесь — ГУЛАГ, незримая страна, которой нет в географиях, психологиях и историях, та знаменитая страна, в которой девяносто девять плачут — один смеется!! Я предпочитаю — смеяться!

Граня. А мне — не смешно.

Хомич *(гладя ее руку)*. Мне будет жаль тебя упустить. Но — обойдусь. А ты? Ты пока бригадиршей была, ты еще не отведала общих работ! Ты скоро-скоро потеряешь эту гордость, этот

румянец и за пятьсот грамм слипшегося хлеба ляжешь в постель к такому ничтожеству... Граня!

Граня *(отнимая руку)*. Ладно. Сдохну под сосной. Я запуталась. Я сама не могу понять... Уйди, пожалуйста... Уйди!

ХОМИЧ подымается, некоторое время стоит, потом медленно уходит. Граня опускает голову на руки. Женщины похоронно-медленно носят носилки с мусором.

Разрисованный занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

ППЧ

Маленькая голая комната в здании барачной постройки. Единственное окно — в задней стене, на нем — марлевая занавеска. Справа — дверь из свежей, неокрашенной фанеры. Один стол — наискось, в левом углу (на стене — дощечка: «Зав. производством»), другой — у задней стены (дощечка: «Нарядчик»). Две-три табуретки да нелепая скамейка посреди комнаты, на дороге.

Электрический свет. За окном темно.

Сидят: за левым столом — НЕМОВ в шерстяной гимнастерке, ПРИЕЗЖИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ, старик в истертой шинели с голубыми погонами и лычками сержанта; за правым столом — нарядчик КОСТЯ, тоже в новой офицерской гимнастерке с широким офицерским ремнем. Он не выпускает изо рта папиросы и похож на Маяковского.

Надзиратель. Ну, поищи, поищи! С малыми сроками. Понимаешь... Не положено тебе об этом говорить, да вы и сами всё знаете... Командировка у нас лесная, глушь, охрана слабая, всё инвалиды вроде меня, демобилизации не дождемся... Десятилетников я не могу брать.

Немов *(раздраженно)*. Откуда я вам, сержант, наберусь малосрочников? Я виноват, что трибуналы меньше десяти не дают? Ну вот, пожалуйста, восемь лет. Берёте? *(Просматривает список.)*

Надзиратель. Восемь? Ладно, давай.

Немов *(записывает)*. Калашникова Акулина Демьяновна.

Надзиратель. Специальность какая?

Немов. Никакая. Домохозяйка. Лес валить — какая специальность!

Надзиратель *(вздыхает)*. Старуха, наверно.

Немов. Тысяча девятисотого года, сорок пять лет. *(Пишет.)* Статья... пятьдесят восемь-восемь...

Надзиратель *(живо)*. Чего-чего? Террор?

Немов. Террор. Да через девятнадцатую — намеревалась только... Наверно, на базаре чего сболтнула.

Надзиратель *(пальцем не дает Немову писать)*. Не-не, террору не могу. Вычеркивай.

Немов. Ну, сержант, я тоже так не могу. Мне надо сейчас ночью весь новый этап по бригадам разбить, в продстол — разнарядку, утром — на работу. Когда мне с вами возиться? Выбирайте сами! *(Сует ему список.)*

Надзиратель. Слушай, я без очков не вижу. И вообще неграмотный. Ну, я тогда с нарядчиком...

Немов. И нарядчик занят, не трогайте.

Надзиратель. Да, вот еще что! Ты мне парикмахера обязательно дай. Был у нас хороший парикмахер, грузин, дезертир, дай Бог ему здоровья, ну — по амнистии освободился. Теперь третий месяц лохматые все ходим — и зэки, и охрана.

Костя. Парикмахера? Подожди-ка. *(Подходит, берет список.)* Вот что, старина, ты уваливай на вахту, тут сейчас с работы придут, шум, бригадиры, я к тебе на вахту приду — за полчаса отберем. Лапа будет? Две пачки «Беломору».

Надзиратель. «Прибоя».

Костя. За шестьдесят работяг — две пачки «Прибоя»?

Надзиратель. А парикмахер будет?

Костя. Еще «Катюши» пачку прибавишь. Не темни! Из посылок берешь.

Надзиратель. Ну, лады, только приходи побыстрей, машины вот-вот... *(Уходит.)*

Немов. Костя! Тут и так работы с новым этапом, на хрена ты связался?

Костя. Вот ты еще... олень! Ты еще ничего не понимаешь. Я ему доходяг спихну, и из нового этапа, и из своих. Зима подойдет — все в санчасть, косить, дрыном не отгонишь. Я знаю! Пусть едут. *(Хлопает в ладоши.)* Ангел!

В дверях появляется АНГЕЛ — молодой однорукий дневальный.

Немов. За что его Ангелом зовут?

Костя. А он по лагерю летает и рукавом пустым махает,

как крылом. Ангел! Из нового этапа вызови ты мне... *(Смотрит в список.)* Негневицкую. Любка зовут. На цырлах!

А н г е л. Есть Негневицкую Любку на цырлах! *(Убегает.)*

К о с т я. Вот она — парикмахер. Я пошел. *(Из дверей, подмигивая.)* Курить — будем!

Соткнувшись с ним в дверях, входит бухгалтер БЕЛОБОТНИКОВ, хромой старик в валенках. Еще не прикрыв за собой двери, он громко говорит.

Бе́лоботников. Тут строёвку подписать, Родион Павлыч! *(Закрыв дверь, хромает к столу. Оглядываясь, тихо.)* Против вас заговор, Родион Павлыч! Соломон, Титок, потом Рубен-кладовщик, Посошков-комендант и этот... Ка-Вэ-Че. Я инвалид, меня на о б щ и е не погонят, только сердце горит, Родион Павлыч! В бухгалтерии сижу — всё слышу. Начальника лагеря ждут, чтоб на вас н а к а п а т ь. Книгу приказов у Соломона отберите, отберите книгу приказов! И нарядчику не доверяйте, он и нашим и вашим. Аморальный человек!

Н е м о в *(оживляясь)*. Спасибо, папаша! Я их — накаточкой! гусеницами! по-танкистски!

Б е л о б о т н и к о в. Но — осторожней. Они и с р о к пришить мастера. В нашем лагере вторые срока́ клепают — у-у!

Немов угасает.

Входит пышная БЭЛЛА, восточной наружности.

Б э л л а. Вы разрешите?

БЕЛОБОТНИКОВ ухрамывает.

Будем знакомы. *(Протягивает руку.)*

Немов пожимает.

Бэлла. *(Плавно садится.)*

Н е м о в *(над бумагами, нервно)*. Быстренько, — что?

Б э л л а *(ничуть не торопясь)*. Вы не представляете, как приятно видеть за этим столом не какого-нибудь лагерного хама, а образованного интеллигентного человека. Все лучшие люди нашего лагеря просто встрепенулись при вашем назначении.

Н е м о в. Какой я интеллигент! Четыре года — солдат, теперь — арестант.

Б э л л а. Ах, оставьте, ведь я же вижу человека! Я сама из хорошей семьи.

Н е м о в. Очень прошу вас, ближе к...

Б э л л а. Вам на первых порах необходимо поставить на все

ключевые посты с в о и х людей. Без этого у вас не будет реальной силы. В частности, речь идет о хлеборезке. Я раньше уже там работала. Меня сняли на общие работы по нелепому обвинению, будто я недовешиваю пайки. Вы можете полностью на меня рассчитывать. Если я буду работать в хлеборезке, то минимум три килограмма в день всегда ваши.

Н е м о в. Слушайте, мне лично...

Б э л л а. Не в а м, не вам л и ч н о! Конечно, в ы не станете кушать черного хлеба! Но — продать, но поменять на водку, но кого-то, так сказать, премировать — ведь вам же надо будет расплачиваться с преданными вам людьми. А как же? Вы еще молодой лагерник, вы поймете это потом.

Н е м о в. Простите, вы — по какой статье?

Б э л л а. Какое это имеет значение? По сто седьмой.

Н е м о в. Спекуляция?

Б э л л а. Боже мой, какая спекуляция! Пенициллин, патефонные иголки. Очень выгодно, чистенько. *(Кладет на стол Немова что-то в бумажке.)*

Н е м о в. А это что?

Б э л л а. Это так.. вам... На начало жизни. П о л к у с к а.

Н е м о в *(не разворачивая)*. Какого куска?

Б э л л а. Боже мой, ну, к у с о к — значит т ы с я ч а.

Н е м о в. Ни в коем случае! Ни в коем случае! Возьмите сию минуту! *(Силой отдает.)*

Стук.

Да-да!

Робко входят 1-я и 2-я СТУДЕНТКИ, еще прилично одетые.

О б е. Разрешите, товарищ начальник?

1-я. У нас к вам большая просьба...

2-я. Нас только сегодня привезли...

1-я. И уже ходят слухи, что отправят дальше.

Н е м о в. Да, отправят.

1-я. У нас очень большая просьба — оставьте нас здесь!

2-я. И главное — не разлучайте!

БЭЛЛА уходит с достоинством.

Н е м о в. Статья?

2-я. Пятьдесят восьмая, конечно.

Н е м о в. Пятьдесят восьмая? Хорошо, оставлю. Вы — кто, девочки, будете?

1-я. Студентки.

Немов. Какого института?

1-я. Высшего Историко-Философско-Литературного, потом влился...

Немов. Ах, МИФЛИ! Запорожская сечь свободной мысли?! Германа Никитича Медноборова знали?

1-я. Ой, как же! Он у нас читал.

2-я. Какая встреча! А вы..?

1-я. Среди студентов после войны такие аресты!

Немов. Тш-ш! Вы не думайте, что здесь — можно говорить свободно. У вас — по десятке?

Обе *(вместе)*. Нет, по пять лет!

Немов. Так тем более берегитесь! Лагерный срок навесят — не оглянетесь.

Люба *(быстро входит)*. Вы меня звали?

Немов. Фамилия?

Люба. Негневицкая.

Немов. Звал. Ну, хорошо, девочки, мы еще поговорим.

1-я и 2-я студентки *(вместе)*. Большое, большое спасибо! *(Уходят.)*

Немов. Вы... *(Потерял мысль.)*

Люба. Я...

Немов. Парикмахер?

Люба. Часовой мастер.

Немов. Как так? А в списках... *(Роется.)* Да, черт, списки забрали. А в списке написано, что вы — парикмахер?

Люба *(пытливо, стараясь угадать)*. Я... и парикмахер.

Немов. Ай да молодец! На все руки?

Люба. Но здесь, я слышала, парикмахер есть?..

Немов. Не здесь, на лесную подкомандировку.

Люба *(живо)*. Так я не парикмахер, я — театральный, парики делаю.

Немов. Театральный? Да вы сами-то кто? Негневицкая. Вы полька, что ли?

Люба. Нет, почти русская. Только прадед мой был польский ссыльный в Сибирь, за восстание. Нет, не посылайте меня, пожалуйста!

Немов. Милая, да я бы никого не посылал, всех жалко, но кого-то надо?

Чмута *(врываясь и ведя за собой доходного работягу)*. Слушай, начальник производства!! Что за порядки?! Надоело это гадство! Падлы сидят, задницы греют!

Немов. Тихо, тихо, в чем дело?

Чмута *(всё так же кричит)*. Ботинки привезли, зажимают в каптерке! Во́ работяги ходят, во́, покажи!

Работяга поднимает по очереди ноги и хлюпает почти нацело оторванными подошвами чуней. ЛЮБА тем временем скрывается.

Сволочь бухгалтерская! Счёты ему об морду изобью! Для придурков ботинки заначили! И ты — с ними, зав. производством?

Немов *(повелительно)*. Сядь, Чмута! *(Хлопает в ладоши.)* Ангел!

ДНЕВАЛЬНЫЙ в дверях.

Старшего бухгалтера — быстро ко мне!

АНГЕЛ исчезает. Чмута садится.

Сколько ботинок получили, точно знаешь?

Чмута *(уже не кричит)*. Пятнадцать пар.

Дверь приоткрывается и колеблется.

Крики. Очередь! Куда без очереди?

Хомич. Ти-ха! *(Закрывает за собой дверь, развязно входит.)* Что ж у вас кабинет такой скромный, зав. производством? Свои строители, отделали б шик-блеск-траля-ля! *(Садится.)* Знакомиться пришел. Угощайтесь, «Казбек».

Немов берет, закуривает.

Хомич, не вставая, издали едва протягивает коробку в сторону Чмуты.

Кури, бригадир.

Чмута *(не шевельнувшись)*. Иван, подай папиросу.

Работяга подходит к Хомичу, берет одну папиросу и несет своему бригадиру.

Ангел *(входит)*. Товарищ начальник! Старший бухгалтер занят.

Немов *(переклоняясь вперед, гневно-командно)*. Я сказал — вызвать старшего бухгалтера!!

АНГЕЛ исчезает.

Хомич. И давно вы в лагере?

Немов. В этом — пятый день. А вы?

Хомич. Вообще — пятый год. А вы?

Немов. Этим летом осужден.

Хомич. Были в плену?

Немов. Нет, с фронта... А вы?

Хомич. Хуже фронта. В наркомате работал. Москва, сорок первый, бомбежки, кошмар. И — в каком звании?

Немов. Капитан. И — по какой статье?

Хомич. Семь восьмых. Машина сахара.

Немов. Броню имели?

Хомич. Да, бронь. Понимаете, такой интересный номер: жену сослали в Нарымский край, а я остался в Москве. Если к ней поеду — бронь ломается, возьмут на фронт, все равно не вместе. Так и не поехал.

Немов. Она что же? — по пятьдесят восьмой?

Хомич. Собственно, семь-тридцать пять, социально-опасный элемент. Она — дочь служащего с КВЖД, воспитывалась за границей. Меня НКВД предупреждало: молодой человек! вы ее очень любите? У вас биография кристальная, не советуем жениться. Надо было послушаться, но знаете, что делает с джентльменом хорошенькая женщина! Теперь она там с ребенком, ребенка порвали эскимосские собаки, кругом тундра, врачей нет...

Чмута *(вновь повышая голос)*. Слушай, зав. производством! Ты у себя хозяин или нет?

Немов порывается выбежать, но тут же входит с большим достоинством СОЛОМОН. Он в новенькой хлопчатобумажной спецовке, по-лагерному франтовской.

Соломон. Что случилось? Земля перевернулась?

Немов. Во-первых, случилось то, что если вы хотите остаться старшим бухгалтером, то надо являться на вызов. Во-вторых, сколько пар ботинок вы получили и почему не доложили?

Соломон *(очень медленно)*. Мы их еще не заприходовали.

Чмута. Соломон Давыдыч, не раскидай чернуху! Зав. баней одел — раз, зубтехник одел — два.

Немов. Сколько пар вы получили?

Соломон. Двенадцать.

Немов *(резко)*. Пятнадцать! Я с вами не в бирюльки играю. Розданные пары немедленно с придурков снять! Через десять минут получите от меня разнарядку, раздадите по ней.

Соломон. Вы не имеете права так действовать. Вы отрываете от людей!

Чмута. От придурков, а не от людей!

Соломон. То пайки дополнительные сняли с бухгалтерии, то — пятнадцать пар на пятьсот человек! Капля в море! Начальник лагеря сам будет распределять, когда приедет.

Немов. Начальник лагеря оставил своим заместителем — меня!

Соломон *(сдержанно)*. Товарищ Немов. Но вы же не глупый человек! На зав. баней они не порвутся, а на работяге в три дня порвутся.

Чмута *(кричит)*. Для того и ботинки, чтоб их рвать!

Соломон *(указывая на обувь работяги)*. Вот так рвать, как ты порвал? Когда сюда шел — сам порвал?

Чмута *(остывая)*. Не будь слишком умный, Соломон Давыдыч.

Соломон *(Немову)*. Зима еще не наступила. Когда снег — тогда и ботинки.

Немов. Когда работяги уже простудятся? Восемнадцатое октября. Не лето. У меня всё.

Соломон *(спокойно)*. За это самоуправство вы будете отвечать перед начальником лагеря! Люди тут годами живут, а вы — неделю и все переворачиваете.

Немов *(кричит)*. Да я вас завтра же выгоню на общие!

Соломон *(невозмутимо Хомичу)*. У вас — «Казбек»?

Хомич *(подымаясь и предлагая)*. Да, да, пожалуйста, Соломон Давыдыч.

СОЛОМОН закуривает и степенно уходит.

Соломон Давыдыч, один вопросик! *(Нагоняя, уходит за ним.)*

Немов *(некоторое время смотрит им вслед. Потом отрывает бумажку, пишет)*. Тебе, Чмута, — две пары.

Входит степенный крупный ЯХИМЧУК, сверкая лысиной.

Чмута *(враждебно)*. Зав. производством!..

Немов. А блатных возьмешь в бригаду?

Чмута. На хрена мне твои блатные? Своих кормить нечем.

Немов. Ботинок две пары. Всё. Можешь идти.

Чмута. Смотри, круто гнёшь, обломишься! Пошли, Иван. Две пары! На тридцать пять человек! *(Уходит с работягой.)*

Немов. Яхимчук! Ты — старый лагерный волк. Скажи, значит, все годы, что мы воевали, защищали, — а здесь было так?

Яхимчук *(сидит)*. Хуже было гораздо. Вместо хлеба зерно выдавали. Смешаешь со снегом — вот и суп. На разводе читали списки, кто расстрелян вчера. Сейчас — курорт.

Пауза.

Немов. Хоть одного блатаря — возьмите.

Яхимчук. Сколько лагеря стоят — никогда блатари не работали. Бригадиров, нарядчиков — убивали...

Немов. Сегодня обещали и мне...

Яхимчук. Им — всё можно. Блатных Сталин любит. Они — «социально-близкие».

Немов. Да, почему — «социально-близкие»?

Яхимчук. Так по УРЧу пишутся. Мы — социально-чуждые, значит, они — социально-близкие. Так с двадцатых годов.

Немов *(в волнении)*. Великолепно получается! Кто убежал с фронта, дезертир — теперь по сталинской амнистии прощен! Кто не бежал, а дрался и в плен попал — враг. Я на фронте фашистов четыре года бил — значит, я здесь — фашист! А кто в тылу воровал и убивал — тот «социально-близкий»! А? То-то и литература наша так блатных любит, всегда они благородные, всегда перековываются. *(Отмечает.)* Ботинок вам — одна пара. Бригада мала.

Яхимчук. Родион Павлыч, вы не смотрите, что Чмута — на горло, а я тихий. То главное — горят ботинки, горят. Чугун жидкий летит — прожигает, на деталь горячую станет — подошва горит. Процент у нас двести, стахановцы. На литейку и кузню — четыре пары дайте.

Немов. Да что вы? — четыре! Чмуте дал две! Две и вам, ладно. *(Записывает.)*

Яхимчук. Добро́, не пожалеете. *(Идет к двери, потом возвращается.)* В общем, так: сидите здесь — хорошо, погорите — возьму в литейку, ничего не бойтесь.

Немов. Спасибо, Николай... Захарович. Пока — сижу.

ЯХИМЧУК уходит. Немов один.

Пока... Что с моей головой? Я в каком-то злом сне... Зачем я полез в начальники? Я думал, это как в армии: офицер! приказ... — хо-го!.. Какой-то гадливый ужас — чтобы только самому не попасть на общие. Общие — это смерть! *(Пауза.)* Но начальником здесь быть — еще хуже смерти...

Несколько раз в дверь стучат. Наконец, Немов слышит.

Да!

Входит ШУРОЧКА. Она в модной шляпке, цветном пальто.

Шурочка. Разрешите? Здравствуйте. Простите, что я вас беспокою...

Немов. Да. Что вам? Остаться?

Шурочка. Как! А еще будут увозить?

Немов. Конечно. Куда нам столько.

Шурочка. Тогда — остаться! остаться! И так завезли!.. Я всю жизнь прожила в Москве.

Немов. Какая статья?

Шурочка. Общедоступная, какая!

Немов. И вы занимались политикой!

Шурочка. Что вы, что вы! — я театралка! я поклонница всего изящного! Просто слышала разговор и не донесла... Как мне устроиться на какую-нибудь... канцелярскую работу?

Немов. Нич-чего нет.

Шурочка. Я работала секретарем. Немножко машинисткой. Немножко бухгалтером. Меня зовут Шурочка.

Немов *(кивая)*. Я представляю... Вы на премьерах выбегали к рампе и, надев сумочку на локоть, кричали «браво» Остужеву. Этот билет, обязательно на премьеру, вы на долгие сбережения покупали у перекупщиков, да? Увы, я сам тут без году неделя и ничего не могу вам... зайдите в КВЧ, в бухгалтерию. Может быть, сумеете понравиться.

Шурочка. Понравиться? Вы хотите сказать...

Немов *(печальнo)*. Я не это хотел сказать. Но получается...

Шурочка *(с порывом)*. Скажите! Почему в лагере люди становятся такими ужасными?! Неужели они и на воле были такими, только скрывались?..

Входит ПРИЕЗЖИЙ НАДЗИРАТЕЛЬ.

Надзиратель. Ну, слушай, зав. производством! Парикмахера нашел?

Немов. Парикмахерша, только театральная.

Надзиратель. Баба? Вот эта?

ШУРОЧКА вспыхивает и уходит.

Ничего, лишь бы ножницы из рук не вываливались.

Немов. Где ж она есть? *(Хлопает.)* Ангел!

АНГЕЛ в дверях.

Вот эту первую девушку, что ты звал, резвую такую, — давай её сюда!

АНГЕЛ исчезает.

Ну, подобрали этап?

В дверь стук. Входят 1-я и 2-я СТУДЕНТКИ.

Надзиратель. Подобрали. Кота в мешке купил, не знаю,

кого. Оглядеть некогда, уж машины на вахте.

1-я студентка. Товарищ начальник!

2-я студентка. Простите нас!

Немов. Что такое?

1-я студентка. Мы хотели бы уехать. Говорят, этап хороший.

Надзиратель. Это мой этап? Конечно, хороший. В лесу. Летом смолой пахнет. Как на даче.

Немов. Но сейчас к зиме.

Надзиратель. И зимой хорошо: конвою не хватает, на работу зэков не выводим, ле-е-жат себе на нарах. Пиши их, пиши! *(Сует Немову список.)*

Немов. Жалеть будете, девочки!

Обе. Не будем, не будем, пишите!

Немов вписывает.

Надзиратель. За вещами и — на вахту, быстро!

СТУДЕНТКИ с возгласами убегают.

Вот дурочки! — болота, комары, лесоповал — на что они годятся? Ну, может, какая лейтенанту понравится, он у нас на баб разбойник. Баб нет у нас, мужики одни, тоже-ть изголодались. И парикмахершу возьму. Вот радость будет!

Входит ЛЮБА.

Немов. Ну, куда ж вы убежали? Тут и так голова затуркана. *(Надзирателю.)* Вот она!

Люба. Да, но я не знаю, гожусь ли я?

Надзиратель. Годишься-годишься. Такая девка-коза!

Люба подходит ближе и протягивает руки. Ее пясти — в черных волдырях.

Немов. Что у вас с руками?

Люба. Не знаю, не говорят. Лечат. Может, заразное...

Надзиратель. А может, пройдет?

Люба. Да уж больше года мучаюсь.

Надзиратель. Ай, беда, такая девка славная... Как же нам?.. Еще чуток волосы отпустим — шерсть валять будем, валенки катать. Ну, иди, что ж. У нас там и санчасти нет.

ЛЮБА уходит.

Немов. Как же без санчасти?

Надзиратель. А ничего, обходимся. У нас без врача

как-то не болеют. Жив-жив, потом — смотришь — умер. Без хлопот. *(Уходит.)*

Входит ГАЙ. Немов подымается и здоровается с ним за руку. Гай садится.

Немов. Павел Тарасович! Четверо блатных. Куда девать?

Гай. Четверо — много. А двоих давай, что ж делать.

Немов. Работать — не хотят.

Гай. У меня — будут.

Немов *(записывая)*. Геройский ты парень, Павел Тарасович. Ты кем был на фронте?

Гай. Спроси — кем не был. Наводчиком зенитки был. В штрафной был. Командиром взвода сорокапяток был. Своими руками двух мессершмиттов сбил.

Звон отбоя во дворе.

Немов. Ах, и поговорить некогда, разобраться...

Гай. У меня — бурлит всё! Сидел я во фронтовой контрразведке СМЕРШ — орлы были в камере, ну просто орлы! Когда нам рассказывали про лагеря, мы думали — это пятьдесят восьмая стала такая затруханная, рахитики, мы поедем — всё повернем. А приехали сюда — как топор в тесто влип.

Немов. Что же нам делать? Как это всё понимать?..

Костя *(в дверях)*. Р-разойдись, приема нет! Ат-бой был! Зав. производством занят.

Слышен ропот голосов.

Ангел! Никого не пускать! *(Входит.)* Ну, порядочек, отправили, спихнул фитилей десятка два.

Немов. Двух блатных Гаю отдаю.

Гай прощается с обоими за руку.

Костя. Как закон!

ГАЙ уходит. Костя кладет перед Немовым пачку папирос.

Твой «Беломор». *(Хлопает.)* Ангел!

АНГЕЛ появляется.

Беги на кухню, чтобы быстро котлетки или мясо поджарили, на двоих.

Немов. Стой, стой, Костя! Это — для нас?

Костя. Ну а для кого же?

Немов. Иди, Ангел, не надо.

АНГЕЛ уходит недовольный.

Костя! Парень ты — симпатичный, но — никогда и ни в коем случае!

К о с т я. Ты — тот еще керя! Фраер зеленый! Как же ты жить будешь в лагере? Баланду лопать?

Н е м о в. Как все — так и я.

К о с т я. Ну и подохнешь через неделю.

Н е м о в. Люди ж не дохнут...

К о с т я. Дохнут! Еще как дохнут! Или в центральную больницу или в братскую яму сразу. Я строёвки пишу, знаю. Нет уж, попал на это место — так слушай меня. Иначе на о б щ и е слетишь в момент.

Н е м о в. Нет, ну их к черту, о б щ и е!

К о с т я. То-то. *(Достает из кармана пол-литра и, спиной к двери, наливает в глиняную кружку.)* Тут я принес по десять капель на зуб, пей! Чем теперь закусывать будем?

Н е м о в. Ну что за человек? Откуда? *(Пьет.)* В лагере ж она запрещена...

К о с т я. Тут-то ее и пьют, тюря! *(Выпивает остальное, прячет в свой стол пустую бутылку.)* О! Сала шматочек! Я и забыл. Закусывай. *(Режет.)* Это один литовец принес за то, что я его в другую бригаду перевел.

Н е м о в. И ведь ты скажи, на фронте у меня бочка его была, трофейного спирта, ребятам я каждый день выдавал — сам не пил. А здесь приятно.

К о с т я. Вообще ты — тяжелый тип.

Н е м о в. Слушай, когда ж мы новый этап по бригадам разобьем?

К о с т я. Успеем, ночь большая.

Н е м о в *(хмелея)*. Я блатарей двух Гаю отдал... Или говорил?.. Костя! Ты прости меня... А ты сам немножко не из блатных?

К о с т я. А что? Похож?

Н е м о в. Да есть чуть-чуть.

К о с т я. Я — сука.

Н е м о в. Как-как?

К о с т я. С у к а, говорю, сука.

Н е м о в. Это что ж значит?

К о с т я. А это значит — от блатных откололись, с с у ч и л и с ь, нарядчиками работают, бригадирами, комендантами, то

есть начальству помогают, — а блатным не положено. Живем так: трое сук, один блатной — зарежем; трое блатных, один сука — зарежут.

Немов. Ну а я по-лагерному — кто?

Костя. Ты? Я ж тебе говорю — олень. Сидор Поликарпович, вот ты кто. Как человека я тебя не одобряю. Но рубишь ты их правильно, за это я тебя полюбил. Тут придурки — кубло, во́ кубло. *(Показывает переплетение.)* И я тоже из того кубла, учти. Только мы с Рубеном-кладовщиком бабы не поделили. Так или я его на лесоповал, или он меня на лесоповал. Поэтому я с тобой могу. Могу вместе. Учти, я надежный парень, выручка в бою, порядок морской. Сейчас нам — что?

Немов *(совсем опьянев)*. Да, — что?

Костя. Кухня: старший повар — мой человек, порядок. Раз. *(Загибает палец.)* Хлебореза своего поставить — два. Вещ. каптера своего — три... *(Загибает.)*

Разрисованный занавес

В антракте, не тотчас, — смена часовых на вышках у сценического портала. Сменив одного часового, развод военным шагом спускается, проходит перед первым рядом партера (если там толпятся зрители, РАЗВОДЯЩИЙ грубо кричит: — Ат-тайди от зоны! Р-разойдись!) и сменяет часового другой вышки.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ

Просторный кабинет начальника лагпункта. Середина комнаты вся пуста, устлана красной дорожкой. У левой стены — десяток рядом стоящих стульев, глубже — дверь, за ней в углу — большая скульптура Сталина на подставке. Сзади — дощатая перегородка, в ней — проём с расходящимися занавесками и видна кровать. Справа — два окна, за ними пасмурно, это единственное освещение. Справа же — письменный стол с высоким чернильным прибором в виде кремлевской башни, этажерка с приемником, диван.

В тишине хорошо слышен бой дождя в водосточные трубы. За перегородкой — тяжелое кряхтение, спускаются с кровати сапоги. Держа в руках еще не надетый китель, выходит лейтенант ОВЧУХОВ. Бродит.

О в ч у х о в . Где я мог..? Где?.. Вот неприятность!.. И на хрена его нам дают — что мы, на фронте, что ли? Я его и не чистил три года... Доложить — пропал. Не доложить — еще больше пропал. *(У окна.)* Это ж вторые сутки без передыху льет и льет. Кто там работает!.. *(У стола. Не садясь, перебирает бумажки.)* О! Не успел от них сам, а уж почта здесь. Что они ее, по воздуху, что ли, перекидывают? Насажали в управлении сто машинисток — им же надо хлеб отрабатывать. *(Зажигает настольную лампу, разрывает конверт.)* Пожалуйста. Постановление развернутого совещания... Пункт тридцать четвертый: «Предупредить лейтенанта товарища Овчухова, что если он не добьется крутого подъема производительности труда, он будет переведен в дальние северные лагеря». В ссылку, значит. На Колыму куда-нибудь. Ой, мама, вот жмут! вот жмут! *(Опускается за стол.)* Один выход: доложить, что личное оружие потерял, пускай из органов выгоняют, что я себе — работы не найду?.. А где их найдешь, эти тысячи? Да продукты со склада?.. А еще ну-ка за потерю оружия — под суд?.. Не, не выгонят. Тягать, прорабатывать, а не выгонят! *(Звонит в колокольчик.)*

В дверях — АНГЕЛ.

А н г е л . С приездом, гражданин начальник! Прикажете завтрак подать?

О в ч у х о в . Да. Давай. И этого... зав. производством.

А н г е л . Он там, на строительстве, гражданин начальник.

О в ч у х о в . Вот и вызови.

А н г е л . Есть! *(Исчезает.)*

Овчухов с подпертой головой сидит за столом. Стук.

О в ч у х о в . Да.

Входит СОЛОМОН. Выглядит очень аккуратно.

С о л о м о н . Разрешите? С добрым утром, гражданин начальник! С приездом!

Овчухов мычит.

Гражданин начальник! К завтраку вам. *(Ставит на стол в свет лампы пол-литра.)*

О в ч у х о в. И откуда ты, Соломон, всё достаешь? Откуда ты достаешь?

С о л о м о н. Живем потихоньку, гражданин начальник.

О в ч у х о в *(показывая за перегородку)*. Там стакан, налей.

Соломон заходит за перегородку.

Свет зажги.

Зажигается яркий свет. Стук. СТАРШИЙ ПОВАР в белом вносит поднос, накрытый кисеей, и ловко закрывает дверь ногой.

П о в а р *(ставя поднос на стол)*. С приездом, гражданин начальник!

О в ч у х о в. Тьфу, чтоб ты пропал, сговорились вы, что ли? Хоть новое что сказал.

П о в а р *(откидывая кисею)*. Бефстроган, гражданин начальник!

О в ч у х о в. А вон то?

П о в а р. Котлетки рисовые. Соус плюм.

О в ч у х о в. Плюм — это хорошо. Ты всё ж таки готовить умеешь. Не то б я тебя да-а-вно на общие послал.

П о в а р. За что, гражданин начальник?!

О в ч у х о в. Вали, вали, сам знаешь.

ПОВАР уходит. Соломон, крадучись, подносит стакан. Овчухов пьет, начинает завтракать.

Смотри, хорошее мясо. Неужели с общего котла? Здóрово мы вас кормим! Какая у нас норма мяса заключенным?

С о л о м о н. Вообще-то — пятнадцать грамм, но если субпродуктами третьей категории — легкими пикальными, мясокостными хвостами, пищеводом обработанным, то выходит больше. А то заменяем мясо — рыбой или горохом.

О в ч у х о в. Просто хорошее мясо! Налей еще, что ли.

Соломон подносит.

Ну, что тут нового, докладывай. Зав. производством как? Справляется? Чего улыбишься?

С о л о м о н. Гражданин начальник! Вы его сами выбрали, назначили, — значит, он хороший.

О в ч у х о в. Раз я назначил — конечно, хороший. Я в людях разбираюсь. А — чего, все-таки?

С о л о м о н. Гражданин начальник! Он себя тут ведет, как будто он бог и царь — ваш заместитель!

О в ч у х о в. Правильно ведет. Я ему так и велел, он за меня остался.

С о л о м о н. Ну, совершенно верно. Но остаться за вас — это не значит нарушать вашу волю, отменять ваши приказания.

О в ч у х о в. Мои приказания?!

С о л о м о н. Ну, например, на днях перераспределил дополнительные пайки, вообще распоясался. Зубтехника послал на общие. Прижимает обслугу лагеря...

О в ч у х о в. Обслугу лагеря не только прижать, а всех пошлю на общие! Довольно процент мне снижать! Тебя одного в бухгалтерии оставлю, да повара одного, а всех каптёров, парикмахеров, помкомендантов — всех на работу! Я из-за вас в северные лагеря не поеду.

С о л о м о н. Гражданин начальник! Так если вы мне скажете: Соломон! днем работай в бухгалтерии, а ночью иди землю копай — я первый побегу кирку захватывать. Но — он? Потом ботинки без вас самочинно раздал.

О в ч у х о в. Ботинки — это зря.

С о л о м о н. Я ему говорил, чтобы вас подождать. Потом — взятки берет с нового этапа: кого послать на лесоповал, кого оставить.

О в ч у х о в. Лапу берет? Молодчик! Дурак бы был, если б не брал.

С о л о м о н. Ну, совершенно верно. Но вообще, гражданин начальник, это не такой человек, какой вам нужен, чтобы поднять производительность труда. Среди нового этапа есть один инженер — талантливый энергичный человек, хорошо знает произ...

О в ч у х о в. Что значит — талантливый? Что он, Лемешев, что ли? Я твоих талантливых, знаешь, всех...

Стук.

Да!

Входит НЕМОВ. Он в мокром.

Н е м о в. Гражданин начальник! По вашему вызову зав. производством Немов прибыл.

О в ч у х о в. О! вояка! Сразу видно. Так на что, Соломон, ты жалуешься? В чем он неправ?

С о л о м о н. Я вовсе не жалуюсь, гражданин начальник.

О в ч у х о в. А не жалуешься — тогда иди! Иди!

СОЛОМОН уходит.

Ну, что ты тут без меня? Самоуправничаешь?

Немов *(четко)*. Я действовал точно по вашим инструкциям: всё для повышения производительности труда.

Овчухов. Ну, и насколько повысил?

Немов. За истекшую декаду производительность труда поднялась на восемь процентов.

Овчухов. Ч-чудеса! Как это ты исхитрился?

Немов. Ну, во-первых, за счет того, что я вмешался в работу нормировочного бюро. Мне удалось обнаружить, что производство нас обманывает: то неполное описание работ по нарядам, то неправильное истолкование единых норм.

Овчухов. А Дорофеев куда смотрел, подлюга лысая? Выгоню на общие! Наш, лагерник, — должен за лагерь болеть, а не за производство!

Немов. Гражданин начальник! Как раз Дорофеев сам ничего не может сделать — ведь он на службе у Гурвича! Ну, Гурвич его через день прогонит — какая нам выгода?

Овчухов. И ведь ты скажи, — я чувствовал, что производство меня обгрёбывает! И на сколько, ты говоришь, повысил?

Немов. На восемь процентов.

Овчухов. Мало. Ма-ло! Надо на пятьдесят восемь!.. Нет, на пятьдесят восемь не надо... на шестьдесят! Я тебя научу, ты еще неопытный, не с того конца берешься. *(Раздельно.)* На-да за-ставить заключенных работать!! Вот сегодня дождь, ты — пошел, проверил? На открытых работах, ручаюсь, никого нет! Так пойди и выгони! Они душй работе не отдают, а надо всю душу отдать! Заключенный — он падло ленивое, готов от кровной пайки отказаться, с голоду подохнуть — только б ему не двигаться. А ты его, гада, — подними, направь! И по шее можно. Это можно.

Немов молчит.

А ты *(берет бумажку на столе, швыряет)* Гурвичу с охраной труда голову морочишь. Чихня́ это всё. Не твое дело. Теперь — от нового этапа хороших вещей набрал?

Немов. Не понимаю.

Овчухов. Ну, джемперов там, по́льта кожаные, юбки шелковые... Сам зажать хочешь?

Немов. Позвольте, как и зачем я могу брать чужие вещи?

Овчухов. Чтобы жить, дурак! «Подохни ты сегодня, а я завтра» — закон лагерный знаешь? А на фронте трофеи брал?

Немов *(смущенно)*. Брал...

Овчухов. Так не одно и то же? Не-ет, ты — Сидор Поликарпович, извиняюсь, не зацепил ли я вас рукавом. Та́к ты в лагере не проживешь, не-е. Ты бы пришел и сказал: вот для вашей жены юбочка или там чего другое... Я б тебя любил. И тебе б оставалось.

Немов *(подавлен)*. Гражданин начальник! Я в самое первое знакомство вам заявил, что я — фронтовой офицер, опыт руководства людьми имею, в делах производства постараюсь разобраться, — а больше я вам ничего не обещал.

Овчухов. Ну, ладно. Поднимешь мне производительность труда на шестьдесят про́центов — буду тебя любить. В общем, ты жми, а я тебя поддержу!

Немов. Есть, гражданин начальник! Потом я хочу представить вам сокращение вдвое хозобслуги лагеря — этих нахлебаев! У нас в зоне болтается много лишних людей — в бухгалтерии, на кухне, потом зачем-то два хлебореза, три банщика, а баня никогда не работает, разных дневальных тридцать пять тысяч, какой-то зуботехник, ни одной коронки никому не вставил, потом в санчасти этих санитарок...

Постучался и, не дожидаясь ответа, входит МЕРЕЩУН. Он свеж, выбрит, плотен, из-под белого халата виден ярко-красный свитер Хомича.

Мерещун. Добрый день, гражданин начальник. *(Проходит и садится у стола Овчухова.)*

Немов всю сцену стоит.

Овчухов. Здравствуй, доктор. Вот зав. производством говорит — у тебя санитарок много, надо сократить.

Мерещун. Зачем завидовать? Пришел бы, сказал, какую ему — Маню? Клару? — пожалуйста, я бы отдал.

Овчухов хохочет.

А вообще у меня штатных две санитарки — дневная и ночная, а остальных же шесть держу по другой графе — как больных, да будет известно зав. производством.

Немов. То есть каждый день шесть больных вместо того, чтобы лечь в постель, идут за зону — оправдывать ваших санитарок?

Овчухов *(отмахивается)*. Ну уж, зарапортовался! Люди идут на работу — государство на этом не теряет! *(Мерещуну.)* Но

вообще я буду его любить. Если он мне поднимет производительность труда. В общем, зав. производством! Иди — и жми! И — нажимай! Я тебя всегда поддержу.

НЕМОВ поворачивается по-военному, уходит.

Свитер у тебя хороший, красный.

Мерещун. Кажется, начальник, магарыч не с меня, а с вас. Вы ничего не потеряли?

Овчухов *(встрепенувшись)*. А что я мог потерять?

Мерещун. Не потеряли?

Овчухов. Нашел!?!

Мерещун достает из кармана маленький сверток. Овчухов быстро разворачивает, потрясает над головой пистолетом, бросается обнимать Мерещуна.

Друг! Керя! Спаситель! Где нашел??

Мерещун *(смакуя)*. Перед тем, как уехать в Управление, вы с вахты ко мне в кабину зашли?

Овчухов. Зашел!

Мерещун. Выпили...

Овчухов. Порядочно!

Мерещун. И заснули.

Овчухов. Точно!

Мерещун. Утром — когда вы встали? — я не слышал, спал. Подхожу к постели — а он лежит...

Овчухов. Из кобуры выпал, цыпочка! *(Ласкает пистолет.)*

Мерещун. Я — в кабинет, я — на вахту, — говорят: уехал.

Овчухов. А я сейчас по всей дороге на землю смотрел.

Мерещун. Вот я перепугался! Тут предоктябрьского шмона жди, в кабине держать нельзя! Пришлось в тряпочку и — под порог. Получите!

Овчухов. Ай да Мерещун! Вот спасибо! А я уж думал — из органов выпрут. Решил пока до зарплаты не признаваться. Ну, полцарства проси — чего тебе надо? Да тебе ничего не надо. Ты же живешь лучше, чем на воле. На жратву ты не смотришь, баб у тебя хватает, спирта сам я у тебя беру. Ну, что? В областной город без конвою на неделю хочешь? Цени, ведь ты — Пятьдесят восьмая!

Мерещун. В областной город? Это можно.

Овчухов. Не то, что можно, — никак нельзя! Но — сделаем! Я же знаю, ты вернешься, лучше рая не найдешь. Еще тебе что?

М е р е щ у н. Спасибо, начальник, пока мне ничего не надо. Разве что — вам помочь?..

О в ч у х о в. Скажи, скажи.

М е р е щ у н. Вас в Управление зачем вызывали? Небось, насчет производительности жмут?

О в ч у х о в. То есть не то что жмут — давят! Косточки хрустят! Сказали: будем вынуждены послать за Полярный Круг. Квартира, семья, дом начал строить... Да я рад, хоть пистолет нашелся.

М е р е щ у н. Так вот, если вы хотите производительность труда — я вам человека нашел — ай-ай-ай! Не пролей капельки! Ради производительности труда родного отца на лесоповал пошлет.

О в ч у х о в. Иди ты! Такого мне и надо! Где взял?

Мерещун звонит в ручной колокольчик. Вбегает АНГЕЛ.

М е р е щ у н. Инженера Хомича. Он сейчас в зоне. По болезни.

АНГЕЛ убегает.

Деловой, требовательный, в производстве собаку съел. Он вам дело поставит — а!

О в ч у х о в. Гм-м... Значит, э т о г о — что? снять?

М е р е щ у н. Кого? Рокоссовского? Его блатные Рокоссовским прозвали.

О в ч у х о в *(смеется)*. Рокоссовским? Точно!

М е р е щ у н. Я — сам офицер и вижу: в армии он, может, и хорош, но здесь не годится. Здесь надо д у ш у лагерника понимать. За пятьсот грамм черного хлеба Беломорканал построен.

Стук.

О в ч у х о в. Душу, верно. Зайди.

Входит ХОМИЧ.

Х о м и ч. Инженер Хомич по вашему приказанию.

О в ч у х о в. Инженер — какой? По строительству?

Х о м и ч. Так точно.

О в ч у х о в. А по механизации?

Х о м и ч. То же самое.

О в ч у х о в. А по электрике?

Х о м и ч. Три года работал.

О в ч у х о в. Сантехника?

Хомич. Свободно разбираюсь.

Овчухов. Смотри, золото, а не человек.

Мерещун. Еще одно он от вас скрывает: он еще инженер человеческих душ.

Овчухов. А вот мы сейчас проверим. Если я тебя назначу начальником производства и скажу: повысь мне производительность труда, — с какого края начнешь?

Хомич. С хлеба! Например, гарантийку давать не за сто процентов, а за сто один! Тогда все повременщики станут переходить на сдельщину! Нам выгода. И так же все высшие пáйки — сдвинуть шкалу!

Овчухов. Подожди, но шкала — ГУЛАГа, мы не можем...

Хомич. Можем! Да не беспокойтесь, за это ничего не будет! Я это уже применял в том лагере, где был прорабом. Блестящий результат!

Овчухов. Смело придумано.

Хомич. Второе: так же изменить и шкалу каш — чтобы на одну и на две каши нужно было бы перевыполнить больше процентов.

Овчухов. Это мы и сами догадались. Повышали, уж некуда. Дойдут работяги.

Мерещун. Не дойдут! Как доктор говорю: не дойдут.

Хомич. Третье: разрешать свидания только за сто пятьдесят процентов, ночные свидания — только за двести один, а за двести пятьдесят — две ночи. Четвертое: не принимать с почты продуктовых посылок для заключенных, вырабатывающих ниже ста двадцати процентов.

Овчухов. Да разве мы имеем право?

Хомич. Слушайте! Пока родственники разберутся, пока напишут жалобы, пока пошлют в Москву, а Москва — к нам, — мы хотя бы на три зимних месяца схватим за горло тех, кто живет на своих продуктах, кто не нуждается в лагерной кухне! Или вкалывай как вол — или подыхай! Очень важно! Пятое — оборудовать комнату ночных свиданий и разрешать: за двести один процент — одну ночь, за двести пятьдесят — две ночи. Шестое — нормировщик. Ну, этого я сам... Седьмое...

Овчухов. Это всё верно. Это всё правильно. Много еще?

Хомич. Пятнадцать мероприятий наберу.

Овчухов. Ну, тогда скажи — а шестнадцатое?

Хомич. А шестнадцатое? За счет общего повышения производительности выделить строительную бригаду для окончания к праздникам вашего собственного дома!

О в ч у х о в. Угадал! Угадал! У меня там столярные работы, малярные...

Х о м и ч. Знаю, знаю.

М е р е щ у н. И выходит — кругом шестнадцать.

О в ч у х о в. Деловой! Опыт имеешь. *(Звонит.)*

Тотчас же входит СОЛОМОН, держа руки за спиной.

Ты как догадался, что я — т е б я?

С о л о м о н. Ангел отлучился, гражданин начальник, я и зашел, чтоб не ждать.

О в ч у х о в. Книгу приказов — тащи!

С о л о м о н *(выводя книгу из-за спины)*. Пожалуйста.

О в ч у х о в *(пораженный)*. Ну, ты настоящий царь Соломон! Как же ты догадался, что мне — книгу приказов?

С о л о м о н. Угадывать ваши мысли — моя обязанность.

О в ч у х о в. Золотые люди меня окружают! Вот что значит — я умею людей подбирать. Как правильно товарищ Сталин сказал: «Кадры решают всё». «Люди — самый ценный капитал». У нас этот лозунг висит во дворе?

С о л о м о н. В столовой висит, гражданин начальник.

О в ч у х о в. Вот дурак этот Культурно-Воспитательная Часть, только знает щепки со строительства домой возить, всё забываю ему сказать «Кто не работает, тот не ест» в столовую перевесить, а «ценный капитал» — во двор.

С о л о м о н. Передам, гражданин начальник.

О в ч у х о в. Садись пиши.

Соломон присаживается, надевает очки.

Приказ номер... Какой там номер?

С о л о м о н. Двести тридцать шестой.

О в ч у х о в. Так. Параграф первый. Зав. производством зэ-ка... как его?

М е р е щ у н. Немова...

О в ч у х о в. ...зэ-ка́ Немова за необеспечение крутого подъема производительности труда...

С о л о м о н. Может, глаже сказать — за снижение производительности?

О в ч у х о в. Катай! За снижение произво...

М е р е щ у н. Уж тогда — за резкое снижение.

О в ч у х о в. ...за резкое снижение производительности тру-

да — снять! Параграф второй: назначить зав. производством зэ-ка...

Мерещун. Зэ-ка инженера Хомича!

Разрисованный занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

НОРМОВОЧНАЯ

Высокая просторная грубо оштукатуренная комната в строящемся здании. Огромный нелепый стол у левой стены, глубже — дверь с табличкой «старший прораб». В задней стене — дверь в маленькую кухоньку, где стряпает Люба, и дверь на лестницу. В правой стене — два окна, за столом сидит ДОРОФЕЕВ, обложенный справочниками и бумагами. Лысая голова его обмотана по лбу полотенцем. Еще стоит ничей стол впереди посередине. Грубые скамьи, табуретки целые и ломаные.

День процентовки. Нормировочная гудит от ДЕСЯТНИКОВ, заполняющих наряды, и спорящих с ними БРИГАДИРОВ. По одежде и обуви видно, что на дворе — дождь и грязь. Входят, выходят, пишут стоя и сидя, где попало, тащат у нормировщика бланки и портят их, тормошат обессиленного ДОРОФЕЕВА, берут с его стола книги. В спорах оживленно участвует и НЕМОВ.

Пасмурно. Неопрятно. Накурено. Душно.

Из общего гула вырываются реплики.

Гай. А изготовление раствора?

Фомин. Входит в норму кладки. Ты ж не вручную — растворомешалка.

Чмута *(кричит Фомину)*. Обгрёбываете православных! На хрена мне ваша растворомешалка? Час работает — сутки току нет!

Из кабинета прораба выходит ХОМИЧ. Он медленно проходит к переднему столу и садиться на него, спиной к зрителю.

1-й десятник. Надо горбить, а не тухту писать! За сто двадцать процентов вы должны так наработаться, чтоб на карачках ползали!

1-й бригадир. Как? И разметка и сверловка по ноль во-

семнадцать за дырку? А ты учитываешь, что я на вертикально-фрезерном сверлю?

Дорофеев. Ну, нормы, ну, единые государственные расценки, милый человек, не сказано — на каком станке.

2-й бригадир. План, план! — задницей планируете! Сказали лаги поставить — я поставил, сказали полы настелить — я настелил, а потом срывать? Я виноват, что вам цементный захотелось? Зав. производством! Мне за работу не платят, я бригаду сажаю, составляйте конфликтную комиссию!

Немов. Слушайте, десятник! За ошибки вашего руководства мы не отвечаем. Вы извольте платить!

Дорофеев. Ну кто взял справочник по бетонным работам? Ну кто взял? Не могу я в такой обстановке...

Мастер мехцеха *(паренек комсомольского вида).* Какие «крутильщики станков» — шестнадцать человеко-дней? Это же в «Крокодил» — крутильщики станков!

1-й бригадир. А когда день току не было, а втулки срочные — заставили токарные станки вручную крутить! Тогда о «Крокодиле» не думали?

Мастер мехцеха. Так это же иначе, иначе как-то надо записать. Нельзя же такой позор для истории оставлять! *(Идет с нарядами в кабинет прораба.)*

Немов. Короче: за установку лаг, потом за срыв этих же лаг, за подноску досок и относку этих же досок — пла́тите?

1-й десятник. Из каких средств я платить буду?

Входит БРЫЛОВ. Он неторопливо толкается меж других, потом садится около Дорофеева, где и сидит до своего ухода.

Гай. А подноска инертных к растворомешалке? Дорофеич! В чем дело?

Дорофеев. Да ведь там десяти метров нет? Не платим.

Гай. Ну восемь метров. А два человека на носилках целый день...

Дорофеев. Государственными расценками не предусмотрено. Но дают работать!..

Чмута. Дай наряд! Дай наряд! *(Выхватывает у десятника наряд и рвет в клочки.)* Пошли вы все на хрен к трёпаной матери! Штукатурка отвалится — мне переделывать? Поставили печку — оплачивайте человека!

Гай. Федор Иваныч! Имей ты совесть. Доходят люди. Это целый день с носилками, придут в лагерь, навара капустного пох-

лебают и — ложись. Хоть бы вечером я им мог по кашке прибавить.

Фомин. Всё понимаю, милый, сам заездился — нос да борода. Нам велят резать наряды, не давать лагерю денег. Подпишу тебе кусочек тухты, а меня с работы...

Голос. Как ты бетонировал? Вся арматура повыпадала!

Дорофеев. Не трогайте справочники! Не трогайте!

1-й десятник. Дорофеев! Зачем журналы бригадирам даешь? Тут двадцать было, а он ноль добавил — двести!

3-й бригадир. Кто добавил? Твой почерк!

Дорофеев. Они сами берут, как им не дашь? Ну нельзя работать!

2-й бригадир. А лаги я им поставил? Лаги?

1-й десятник. А вот подправлено. И вот.

Яхимчук. Кузнецы и так ничего не зарабатывают с этими нормами.

Мастер кузни. А сколько ты на цепях заработал? По три нормы в день?

Чмута *(кричит)*. Партачи! Халтурщики!

Немов. Значит, вы не платите?

2-й десятник. Нет!

Немов *(2-му бригадиру)*. Тогда — сажай бригаду! Произвол этот надо кончать.

2-й бригадир направляется к выходу, но в дверях остановлен властным окриком Хомича.

Хомич *(сидя на столе, к нам спиной, не шевелясь)*. Алё! Бригадир! Куда пошел?

2-й бригадир. Бригаду сажать. Тебе что?

Хомич. Спокойно. Американская забастовка, что ли? Кто разрешил?

2-й бригадир. Зав. производством. А ты кто такой?

Хомич. Кто зав. производством?! Я — зав. производством!!

Бурный шум внезапно сменяется полной тишиной и неподвижностью. Из кухни выглядывает и замирает ЛЮБА, она в белом фартуке.

Немов. То есть... как это... вы?..

Хомич. А очень просто.

Немов. Позвольте, кто вас назначил?

Хомич. Начальник лагеря.

Немов. Я полчаса, как от него.

Хомич. А я — десять минут.

Немов. Как это может быть, чтобы меня не вызвали, не сказали?..

Чмута. Может! Немов! В лагере — всё может!

Немов. Да что ж это?.. Это на людоедских островах... и то так не делают... Я пойду проверю... Ничего не сказали...

Хомич. Никуда вас вахта не пропустит. Идите до вечера в бригаду. Норму выполняйте. *(Громко.)* Внимание, бригадиры! Этот вечный шалман в нормировочной — прекратить! Кто зайдет сюда без моего разрешения — будет иметь бледный вид!

Чмута. А Чмуту — три министра десять лет бьются — не перевоспитают, не то что ты!

Хомич *(прежним тоном)*. Что это за номера? Забастовки, базар, а работяги от дождя попрятались? Идите — и выгоняйте! Всех до одного!!

БРИГАДИРЫ молча, не торопясь, начинают расходиться.

Дорофеев. У-ух, как тихо стало... *(Косясь на Хомича.)* Вот хорошо теперь работать будет. Сразу видно, что порядок. Голова у меня, Онуфрич, болит, вот болит...

Брылов. И у меня, старик, болит.

Дорофеев. Так у меня от болезни болит.

Брылов. Сон, понимаешь, мне приснился, какой день прочнуться не могу...

Яхимчук. Ну что ж, Родион? Пойдемте ко мне в литейку.

Брылов. Что эт' ты литейкой распоряжаешься? Литейке — я хозяин! Там ртов хватает. Кóкоса мало, на что жить будем?

Яхимчук. Не шумите, Онуфрич, кто кого еще кормит.

Немов. Я очень благодарен вам, товарищ Яхимчук, но это теперь зависит... *(Смотрит на Хомича.)*

Хомич. А я по убеждениям своим — джентльмен. Лично мне вы доро́ги не перешли. Если Яхимчук берет — пожалуйста.

Брылов. Чего — пожалуйста? Я не беру! Литейке — я́ хозяин!

ЯХИМЧУК уводит НЕМОВА. ДЕСЯТНИКИ, оставшись без бригадиров, тоже расходятся. Хомич спрыгивает со стола, выходит на авансцену.

Хомич. Алё. Дорофеев.

Дорофеев *(поспешно вставая)*. Слушаю вас! *(Подходит.)*

Хомич *(неслышно для остальных)*. Начальник лагеря ставит перед тобой такую задачу: поднять производительность труда всех бригад в два раза!

Дорофеев. Т-товарищ зав. производством! Если в справочнике рубль — как же я могу два написать?

Хомич. Ты глупей себя не ищи, чернуху не раскидывай. Конечно, за метр штукатурки тридцать две копейки, все знают, а какую-нибудь там коническую шестерню отфрезеровать — десять часов или пятнадцать — кто понимает?

Дорофеев. Но ведь это ж подсудное дело, я не хочу второй срок... Ведь это ж единые расценки, государство...

Хомич. Какое государство, дурак? Ты в ГУЛАГе живешь!

Дорофеев. Арнольд Ефимыч меня через три дня выгонит...

Хомич. Гурвич выгонит — мы тебя в зоне пригреем, но уж мы тебя выгоним — под сосной подохнешь. Ясно?

Справа входит разряженная ЗИНА с бумагами, направляется в кабинет Гурвича.

Зина. Борис! Поздравляю! *(Жмет руку.)* Я еще вчера слышала!

Хомич *(отходя от Дорофеева)*. Как вчера? Только сегодня назначили.

Зина. Мой Посошков еще вчера знал. Он всё на свете узнает раньше начальника лагеря. Сегодня справляем вечеринку в честь тебя. Ты еще без жены? Обзаводись!

Хомич. Ах, красивая жизнь, где ты?.. «Милое глупое счастье с белыми окнами в сад...» *(Уходит направо.)*

Навстречу Зине из кабинета резко выходит ГУРВИЧ с пачкой нарядов в руке и МАСТЕР МЕХЦЕХА.

Гурвич. Дорофеев!

Дорофеев вскакивает.

Ты что́ слесарям тухту зарядил? *(Швыряет наряды Дорофееву через всю комнату.)*

Дорофеев поспешно поднимает.

Ты почём слесарям шайбы расценил?

Дорофеев. По три копейки, Арнольд Ефимыч, как в справочни...

Гурвич. А ты посмотрел, что их — четыре тысячи штук? Это сколько они отметут?!. Переделай по три десятых копейки!

Дорофеев. Арнольд Ефимыч! Но единые государственные нормы...

Гурвич. Ты про государство будешь много разговаривать — я тебя на кирпичную кладку выгоню и вольного посажу. Меньше с лагерем шушукайся! Тебе уже бригадиры на голову садятся. В нарядах — подделки... Смотри, за это судят!.. *(Проглядывает бумагу, поданную Зиной.)* Что такое?.. «Зэ-ка Матвеев оступился в колодец из-за отсутствия заграждения»... Что за чушь? Перепечатать немедленно: «Несмотря на имевшиеся около лифтного колодца ограждения, заключенный Матвеев бросился в колодец, имея, по-видимому, цель»...

Зина. Но инспектор техники безопасности...

Гурвич. Дурак он, а не инспектор! Всё согласовано! В четырех экземплярах! *(Отстраняет Зину.)*

ТА уходит.

Брылов! Как бронза?

Брылов. Кладем, кладем, Арнольд Ефимыч, простое дело! Я много таких печей по литейках видел, сам Макару показываю. Во́ бронза будет!

Гурвич. Когда, когда будет?

Брылов. Дня через три.

Гурвич. Надо завтра, завтра плавку!

Люба *(преграждая ему дорогу)*. Обед готов, Арнольд Ефимыч.

Гурвич. Да разве тут до обеда!

Люба. Пересохнет, выкипит, когда же?

ГУРВИЧ машет рукой, уходит с мастером МЕХЦЕХА.

Брылов. Завтра ему плавку! Блоха тоже быстрая! Я на Арнольда в комбинат кляузу буду писать: привязался, чтоб я сортность чугуна выдерживал. А как? Амбулатории нет — раз, шихтовка на глазок — два, обмазка некачественная — три, марганца нет — четыре. Напишу, а?

Дорофеев молча сидит, обхватив голову. Медленно входит КОЛОДЕЙ. Оглядывается.

Колодей. Ну?.. Как у вас тут?.. Порядок?.. Режим не нарушаете?

Молчание.

Дорофеев! Чем карандаши заостряешь?

Дорофеев. Бритвочкой, гражданин начальник. Поломанная вот тут есть.

К о л о д е й. А ты знаешь, что колющее-режущее в лагере не положено?

Л ю б а. Чем же мне Гурвичу картошку чистить?

К о л о д е й. Да хоть зубами. А ножа не имей. Есть на кухне нож?

Л ю б а. Нету.

К о л о д е й. То-то. *(Садится, закуривает.)* Негневицкая! Кто из вашей комнаты по ночам в мужской барак бегает, а?

Л ю б а. Откуда я знаю, гражданин начальник! Я ночью сплю.

К о л о д е й. Все вы спите. А поднимешь одеяло — там чучело. Или двое лежат. А потом в больничку тянутся, рожать. А работать кто будет?

Л ю б а. Не понимаю, как можно запрещать любовь? Ведь человек же не из дерева, ведь десять лет дают.

К о л о д е й. Раз запрещают — значит, можно. Не надо было преступления совершать.

Л ю б а. Хотя правильно. И детей этих, лагерных, по-моему, надо уничтожать.

К о л о д е й *(встрепенувшись)*. Это почему?

Л ю б а. Ну как же? Он — преступник, она — преступница, какой же может быть ребенок? Только преступник. И что он в анкете будет писать, когда вырастет?

К о л о д е й. Да-а... Получается так. Верно.

Л ю б а. А с другой стороны — неверно. Ведь сын за отца не отвечает. Может, наоборот, радоваться надо, что в лагерях дети рождаются? Если б все рожали, это б сколько миллионов солдат лишних, а?

К о л о д е й. То-оже верно... *(Вздыхает, встает.)* Ну, как скажут, так и — будет. Ох, тяжело товарищу Сталину обо всем самому думать. В общем, вы тут это... работайте. *(Уходит.)*

Д о р о ф е е в *(в отчаянии)*. И кто это нормирование проклятое выдумал, Онуфрич? Работал я мальчишкой у казенного десятника — ни нормировщиков, ни бухгалтерии, а уж как дом построили — без ремонту сто лет. Помнишь?

Б р ы л о в. Амбулатории нет, весов нет, обмазка некачественная — напишу! *(Уходит.)*

Л ю б а *(замерев у окна)*. Дождь ли, снег ли — работайте, бедные зэки, вкалывайте! Придёте в зону, снимете мокрое и положите просыхать — под себя... Что, Дорофеич? — болит?

Д о р о ф е е в. Доченька ты моя! Да лучше б я сейчас лопату взял и в эту грязь пошел, чем здесь мучиться. С двух сторон меня стиснули, дышать не могу...

Л ю б а *(садится на передний стол лицом к зрителю)*. Нет, Дорофеич, нет. На зиму — лучше здесь! Как задует буран, да землю эту скованную без рукавичек ломом долбать... Нет.

Д о р о ф е е в . Наверно, помру я скоро... Говорят, к празднику амнистия будет вторая, для пятьдесят восьмой статьи, а? Говорят, у Сталина уже на столе лежит, подписать осталось...

Л ю б а . Эх, Дорофеич! Одна нам будет амнистия — амнистия на тот свет...

Пауза.

А мне его жалко...

Д о р о ф е е в . Кого?

Л ю б а . Да вот этого... Немова...

Д о р о ф е е в . А себя тебе не жалко?

Л ю б а . Себя??. Уже — нет...

Разрисованный занавес

В а н т р а к т е — смена часовых на вышках (та же процедура).

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

БРОНЗУ ЗАКОЛОДИЛО

Литейный цех, как в картине 2-й, но формовочная земля собрана конусом. Кое-где начата новая формовка. Слева в глубине — печь для бронзы: круглая кладка, жестяной колпак с дымоходом в потолок. Справа, из вагранки, непрерывно доносится постукивание, под вагранкой стоят чьи-то ноги.

Впереди прямо на полу сидят МУНИЦА и ЧЕГЕНЁВ.

Ч е г е н е в . Мало тебе дали — десять лет! Таким дуракам надо по двадцать пять давать! Ну, теперь выбивай сам, я не буду!

Муница удрученно молчит. Входит БРЫЛОВ, садится близ них на пол.

Б р ы л о в . Ах ты пакостник, Макар, вот пакостник! Ты думаешь — в одной твоей Румынии печи, а в Рассее-матушке печей

нет? Да я этих печей больше забыл, чем ты их видел, но — молчу. Почему молчу? Потому что без их спокойне́й, никто не дергает, пока ко́кос есть, чугун есть, льем помалу, вам хватает, нам хватает — чего надо, а? Ребята, чего нам надо?

Чегенев. Нам вот масла надо, а ты кислое принес.

Брылов. Что ты, очумел, что ли? Как это — масло, и вдруг кислое?

Чегенев. А так вот, редкое, как творог, и пыхтит. Комбинируешь, Онуфрич? С этого не разбогатеешь.

Брылов. Да что вы, ребята! Опять плохо?.. Ну, может, по пьянке баба ошиблась, не того купила.

Чегенев. Да что она, тоже пьет?

Брылов. Милый, кто теперь не пьет? Первая жена крепилась, а эта закладает. Да как ей удержаться? — у меня под кроватью ящик с водкой не перепустевает. Я не усну, если он пустой, что ты!

Муница. А що Гурвич ка́жэ?

Брылов. Из-за тебя и я: Брылов бронзу сорвал, Брылов экскаваторы остановил. А когда я обещал? Я всегда говорил, что твоя печь — дурная.

Муница. Алэ му́сит быть бронза! Му́сит!

Брылов. Смотри, укусит!.. Москва молодцов видала! Умней тебя люди на свете живут — еще такой печки не придумали. Если б это так просто было — каждый бы дурак такую печку строил. Ты вот думай теперь, как ломать. Сорок килограмм бронзы испортил, сожёг — да это шут с ним, мы ее не покупали, — а печку ту как ломать? Бронзу заколодило!

Муница. Ходко сломаем.

Справа входит ЯХИМЧУК.

Брылов. Николай! Он опять печку хочет строить.

Яхимчук. Що ж? З умом, так можливо и збудовать.

Муница. Алэ як? Як?

Яхимчук. Нибы вы вже не тямитэ? Вы хти́лы сами.

Брылов. Да вы что — все против меня? Ну, я вас разгоню, новых наберу! Вот еще Рокоссовского этого *(кивает в сторону ваганки)*, дармоеда, на мою голову взяли. Ко́кос кончается, чугун кончается — чем жить будем?

Муница *(вскипая)*. На що вин мэни потрибен, проститутка, ничого робыть нэ можэ!

Чегенев *(тянется за лопатой)*. Эй, мамалыга! Смотри, я казак донской!

М у н и ц а *(Яхимчуку)*. Алэ як? Як?

Я х и м ч у к. А я прэмии нэ потрибу́ю.

М у н и ц а. Як нэ знаетэ, так и нэ кажить.

Я х и м ч у к. А як знаю?

М у н и ц а. А як нэ знаетэ?

Б р ы л о в. Да, ребята, чтоб я этой печки и в глаза...

Ч е г е н е в. Не говори ему, батя! Не говори, а то он сто тысяч получит!

Я х и м ч у к. Голова ваша дурья! Форсунку трэба у́щэ зробыть! Воздуходувные отверстия трэба заменьше, на яки́й бис гэ́нде во каки глотки здоровы?

Быстро входит ГУРВИЧ.

Г у р в и ч. Ну что, литейщики, летучий митинг? Провалили бронзу, теперь митингуете? Хвастался, Макар?

М у н и ц а. Чека́йтэ, бу́дэ бронза!

Г у р в и ч. У тебя всё будет! — утюги, сковородки, котелки — ширпотреб наладили, в Москве такого нет! Я вот вас на лесоповал отправлю!

Б р ы л о в. А чем ребята виноваты? Такой печки нельзя сложить. Спросите инженеро́в. Я вот с таких лет по литейках, не люблю по-пустому говорить. Давайте мне командировку тигли толкать. На Урал.

Г у р в и ч. Я тебе не Урал, я тебе аврал устрою! Строгальный станок не успевает детали обрабатывать, всё утюги ваши строгает... *(Подходит к Яхимчуку, кладет ему руку на плечо.)* Яхимчук! Как человека тебя прошу! Ну придумай, помоги! Экскаваторщики на простое стоят, ничего не зарабатывают! Ребята! Ну хоть временную печь! Хоть на одну плавку!

М у н и ц а. Арнольд Ефимыч! Форсунку переробым, фурмы переробым — и буде бронза — пэрший кляс!

М а с т е р м е х ц е х а *(входит)*. Арнольд Ефимыч! Пресс-ножницы ведь опять стоят.

Г у р в и ч *(ужаленно)*. Как опять? Как опять?.. Ну, Яхимчук, будь человеком, помоги! Давай, Макар, премия будет! *(Стремительно уходит с мастером мехцеха.)*

Б р ы л о в. Не соглашайтесь, ребята. Мол, не можем — и взятки гладки... В общем, ковыряйтесь помалу, я пошел. Если Арнольд спросит меня, скажите — в Первое СМУ пошел... Или во Второе... *(Уходит.)*

Ч е г е н е в. Про утюги такого настучали, чего и не было. Ну не стало, батя, жизни от стукачей! *(Уходит.)*

Я х и м ч у к. Ну як? Прэмия пополам?

Муница молчит.

То я жартую, жартую... Николы б я вам нэ сказав, алэ скрыбно мэни дывыться, як вы усэ дило губитэ. Закрутылысь з Гурвичем докупы. Дэ оливэць? Ходимте, я вам начерчу.

М у н и ц а. А класть удвох будэмо?

Я х и м ч у к. Удвох, удвох.

Уходят направо. На сцене никого. Стук внутри вагранки прекращается. Слева входит ЛЮБА.

Л ю б а. Арнольд Ефимыч, вас к телефону!.. Только заскочил, где ж он?.. *(Заглядывает в помещение направо, возвращается.)*

Из-под вагранки кто-то вылезает.

Ой, кто там?

Это НЕМОВ, он распрямляется. Его до невероятия изодранная брезентовая спецовка с прорехами до голого тела, лицо и рваная фуражка — в серой пыли. На глазах — целлулоидовые самодельные очки, в руках — зубило и молоток.

Н е м о в. Я. Не узнаёте?

Л ю б а. Это вы-ы?! На кого вы похожи!! *(Заливчато смеется.)*

Немов поднимает очки, улыбается, чешет голову молотком.

Как вы там поместились, внутри?

Н е м о в. Тесновато, правда. Но я теперь худой. Вот пыли много... Люба. Так вас зовут?

Л ю б а. Вы запомнили? Мне казалось, когда вы были зав. производством — вы людей не замечали.

Н е м о в. Отчасти было... Я тянулся — попасть в милость. С такой высокой лестницы скатился, а на последней ступеньке хотел удержаться. Гнуть других, только б не гнуться самому... А оказывается, куда вольней простому чумазому.

Л ю б а. Простые чумазые — умирают...

Н е м о в. Ну вот же — долбаю шлак и песни пою.

Л ю б а. Это потому, что в литейке. Здесь пайка высокая.

Немов. Слушайте, а я, знаете, иногда что́ думаю?.. Может быть, шкура наша все-таки не самое дорогое, что у нас есть?

Люба *(очень внимательно)*. А — что же?..

Немов. Да в лагере как-то сказать неудобно... Может быть, все-таки... совесть?

Люба *(пристально смотрит)*. Вы — думаете?..

Пауза.

Немов. Ну, а как ваши руки? Я помню.

Люба. Руки? *(Протягивает их.)*

Немов. Что такое? *(Роняет зубило и молоток, берет Любу за руки.)* Совершенно беленькие? Всё прошло?

Люба *(хохочет)*. А ничего и не было!

Немов. Как не было? Я своими глазами видел — вот тут волдыри были черные...

Люба. Так это ж мостырка!

Немов. Что это значит?..

Люба. Ну, я замостырила, чтоб на этап не ехать. Мостырка — это в лагере называется, если снарошки делают — опухоль, глаз слепой, температуру...

Немов. И это всё — можно?

Люба. Он не верит! Конечно. Вот вас же я обманула.

Немов. Удивительно, как вы надзирателя тогда обманули!

Люба. А он, по-моему, немножко догадался. Но пожалел. Вы бы не пожалели?

Немов. Наверно — нет...

Люба. Вы... осмотрели мои руки? Теперь отпустите их...

Немов. Они мне нужны...

Люба. Зачем?..

Немов целует ей руки.

Не притворяйтесь. Я вам не нравлюсь.

Немов. Как вы можете так..?

Люба. Когда нас привезли, новый этап, и посадили на землю, вы подошли к женщинам, оглядели всех и выбрали — Зыбину. Помните?

Немов. Подождите! А что вы подумали?

Люба. Почему — не меня?..

Немов. Да просто потому... Я совсем по другому принципу...

Л ю б а. Но у вас глаза были открыты? Как вы могли выбрать н е меня!?

Н е м о в. Люба! Мне нужна была боевая бригадирша.

Л ю б а. Я тогда очень обиделась.

Н е м о в. Я сразу заметил, что вы... хорошенькая.

Л ю б а. А зачем на лесоповал посылали?

Н е м о в. Но им нужен был парикмахер!

Л ю б а. А я должна страдать?

Н е м о в. Вы... не только страдать... Вы должны быть одеты в легкое белое платье... а вот здесь, на груди, приколоть... ландыши. Но даже и в лагерной телогрейке вы... Дайте мне ваши руки!

Л ю б а. Зачем?

Н е м о в. Я их еще поцелую!

Л ю б а. Кто же целует — руки?..

Н е м о в. Я больше не смею.

Л ю б а. Какой ты чудак.

Немов целует ей руки.

У тебя все-все руки поранены.

Н е м о в. Шлак острый. А то молотком промахнешься.

Л ю б а. Плохо тебе жить, да? Тяжело?

Н е м о в. Вот скоро год, как арестовали, — только было мрачно, так тяжело! А сейчас первый раз хорошо.

Л ю б а. Хорошо? Н а о б щ и х?

Н е м о в. Т ы пришла...

Л ю б а. Я приходила и когда ты был начальником.

Н е м о в. Как хорошо быть н е начальником! Тогда я мог бы подумать, что ты ищешь устроиться. А сейчас...

Л ю б а. А сейчас я пойду. Пусти.

Н е м о в. Не надо!

Л ю б а. Так и будем стоять?

Н е м о в. У-гм...

Л ю б а. Приходи вечером в КВЧ. Будет концерт. А ты — прямо за сцену. *(Медленно отходит, спиною к выходу.)*

Н е м о в *(медленно следуя за ней)*. Так я приду, Люба?..

ЛЮБА кивает. Ушла. Немов стоит и смотрит вслед.

Разрисованный занавес

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

НА КРЫШЕ

Верх строящегося здания на фоне неба — не крыша, но очередное междуэтажное перекрытие. Задняя наружная стена выведена только на полметра над перекрытием. По углам ее, еще на метр выше, — широкие квадратные пилястры со ступенчато-опускающейся развязкой. От левого пилястра по направлению к зрителю идет внутренняя стена, которую две пары каменщиков кладут с подмостей. Она немного не доходит до занавеса — и здесь проход налево. Такая же поперечная внутренняя стена начата и справа, но брошена кладкой вначале. Правее правого пилястра, не видимый зрителю, стоит кран «Пионер», только бывает виден его поворачивающийся хобот, когда он поднимает и переносит через заднюю стену площадку, всякий раз с двумя тачками. Тачечные ходы — досчатый настил — уложены поверх долгих балок перекрытия и идут от крана, поднимаясь к подмостям левой стены. ГРАНЯ и ШУРОЧКА, обе в ватных брюках, отвозят туда тачки, выворачивают раствор в ящики четырем КАМЕНЩИКАМ, возвращают тачки на площадку крана, перецепляют крюк крана с полной площадки на пустую.

Справа пара подносчиков-РАБОТЯГ носят на левую стену кирпич носилками, штук по тридцать. На возвышении в правом ближнем углу первое время после открытия занавеса стоит ГАЙ, молча мрачно наблюдая работу. Теплый солнечный день. Один из последних хороших дней осени. Кран поднимает очередную площадку с двумя тачками. Справа появляются с носилками же пара блатных ФИКСАТЫЙ и ЖОРИК, они до пояса раздеты, мускулисты, смуглы, исписаны татуировкой. Они не идут, а пританцовывают, несут в носилках три кирпича. Сбросив их на подмость, уходят, так же танцуя и напевая, поглядывая на бригадира.

1-й каменщик *(после их ухода)*. Павел Тарасович! Дайте других подносчиков! Мне класть нечего. Что ж они, смеются?

Гай молчит, Граня и Шурочка, отвезя тачки, вернулись к правому пилястру.

Шурочка *(поникла)*. Боже мой, как тяжело... Хоть бы перерыв скорей.

Граня *(смотрит вдаль)*. А во-он телега едет. С соломой.

Шурочка. Отсюда видишь, что солома?

Граня. Я — зайца за километр вижу. А ветерок, чуешь, палым листом во-он из того леса... *(Вдыхает.)*

Шурочка. Неужели пахнет? Ой, как на волю хочется! Всё забыть, отдохнуть!

Граня. А мне — так и нет.

Шурочка. Что ты!

Граня. Я здешним воздухом надышалась, столько здесь подлости навидалась — мне теперь ни на какой воле покою не будет.

Кран подает новую площадку. Граня перецепляет крюк и с грохотом укатывает тачку налево за сцену, куда тоже ведет тачечный ход. Шурочка с трудом катит вслед свою.

2-й каменщик *(1-му)*. Пришло мне извещение на посылку, а саму посылку, говорят, назад отослали. Пока, мол, сто двадцать процентов не будет. Своих же харчей! Может такое быть? Хочу к начальнику сегодня пробиться.

1-й каменщик. А почему — не может? Где ты правду видел? Вон работяги ишачат, а блатные хоть бы что. Думаешь, им бригадир меньше твоей пайки дасть?

2-й каменщик. Наш? Наш им ни хрена не дасть! Никогда не уступит, увидишь.

4-й каменщик — он работает подсобником, вид у него истощенный — ослабев, опускается, садится.

3-й каменщик. Мишка! Мишка! Что с тобой?

4-й каменщик. Голова кружится. Дай посижу. Не могу...

2-й каменщик. Ну, пусть посидит.

3-й каменщик. Чего — пусть? А мне за двоих мантулить?

2-й каменщик. Ну, я подмогну. Доходит парень. Кипятка не пьет — с чего сила будет?

Работают. Подносчики-работяги почти бегом проносят перегруженные носилки и, опростав их, уходят снова. Появляются ФИКСАТЫЙ и ЖОРИК, опять покачиваясь, пританцовывая, на этот раз с единственным кирпичом. Они минуют Гая, поглядывая на него, бросают носилки, садятся. Граня и Шурочка продолжают возить.

Жорик. Ладно! Загораем! *(Ложится загорать.)*

Фиксатый садится. Потрясывая корпусом и кривляясь, поет противную песенку, прославляющую блатных.

Песенка

Гай неподвижен. Слева входит НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА с буйными кудрями из-под военной фуражки. Заметив отдыхающего 4-го каменщика, подкрадывается и бьет его по шее.

Надзирательница. Работать надо, не сидеть, чурка!

4-й каменщик встает с трудом, начинает подавать третьему. Все каменщики работают живее. Фиксатый продолжает петь свою песенку и кривляться.

Надзирательница *(минуя блатных, Жорику).* Ну, чего пузо выставил? Красиво, да?

Жорик *(лежа).* Слушай, краля! Иди сюда! Иди полежим!

Надзирательница. Многого захотел! *(Уходит направо.)*

Фиксатый. Ну, ладно, покурим, что ли? Бригадир, дай бумажку.

Гай все так же неподвижен. Скала.

Фомин *(проходя).* Гай! Гай! Медленно эту стену кладешь. *(Показывает на левую.)* Из-за нее задержка.

Гай неподвижен.

Жорик *(приподнимаясь).* Бригадир! Иди покурим. Поговорить надо. Вообще.

Гай сразу крупными шагами сходит к ним и садится подле.

Фиксатый. Вот что, бригадир. Ты лагерный закон еще не знаешь. Нам работать — не положено. Это что мы работали — так, из уважения. Носилки забирай, другим давай, пусть мантулят.

Жорик. Короче, мы — в законе. Ясно?

Гай. В законе?

Жорик. В законе.

Гай. А — пайка вам положена?

Фиксатый. Да. Костыль — первый. А баланду нашу можешь работягам отдавать, нам с кухни носят, у нас и бациллы всегда.

Гай. Кто ж будет работать?

Жорик. Горбить? Мужики. Всякая мелочь. И — господа фашисты.

Гай. Что ж мы заработаем? Чем я буду кормить людей?

Фиксатый. А это пусть у тебя голова болит, как с начальничком рассчитываться.

Жорик. Вообще-то бригадир прав. Тут сосаловка. Ну, фраером не будешь — будешь с нами кушать, с людьми.

Гай. Так если вы в законе и работать вам не положено, — чтоб не понижать бригадного процента, вы оставайтесь там, в зоне.

Жорик. Ты что, маленький?

Фиксатый. Глупей себя ищешь?

Жорик. Мы не отказчики, век свободы не видать! Отказчиков в военное время на разводе — шлепали.

Фиксатый. Мы еще жить хотим.

Жорик. Умри ты сегодня, а я завтра!

Фиксатый. Процент подсчитаешь, на то ты бригадир.

Гай, приподнявшись, резким взмахом бьет в лицо одного блатного так, что тот опрокидывается, и тотчас же — второго. Они пытаются вскочить, он наносит им еще удары, не давая подняться.

Фиксатый. Ты что, сука позорная?!

Жорик. Ты что делаешь, гад? Падло!

Гай. Кто падло? *(Бьет.)*

Фиксатый. Фашистская морда!

Гай. Кто фашистская морда? *(Бьет.)*

Жорик *(отбегая)*. Караул! Фашисты бьют!

Быстро входит ГУРВИЧ, за ним — ФОМИН и ХОМИЧ. Они будто не замечают драки. В руках у Гурвича развернутый чертеж. Хомич поигрывает логарифмической линейкой.

Гурвич. Где полтора кирпича? Где полтора? Ты что — слепой? Чертежей читать не умеешь? *(Показывает на левую стену.)* Гай! Ломай стену! Ломай всю!

БЛАТНЫЕ угрожающе уходят направо. Фомин чешет затылок.

Хомич. Сэр! Ничего не выйдет! Пишите наряд на ломку стены.

Гурвич. Как это — на ломку стены? На скамью подсудимых, что ли? Половина десятников — пьяницы, половина — неграмотные...

Хомич. Эт-то ваше частное дело! Хотите, запишем строймусором?

Гурвич. Вот, из его *(показывает на Фомина)* зарплаты оплачу.

Фомин, протирая очки, понурился над чертежом.

Хомич *(считая на линейке)*. С отноской мусора вручную на расстояние свыше ста метров, с подъемом десять метров, всего кубометров...

Гурвич. С каким еще подъемом? За три года по нарядам

проверили: мы отнесли строймусора объемом больше, чем всё это здание!

Хомич. Значит, уже высокая куча, потому и подъем десять метров.

Гурвич. Я вам снег напишу, относка снега.

Хомич. Снег дешевый, снегом вы и кубическим километром не рассчитаетесь.

Гурвич. Зато снег был, потаял — никакая ревизия не придерется. Давай ломай, Гай, ломай всю стену и в два кирпича снова перекладывай.

Гай *(мрачно, в сторону крана)*. Женька! Крикни там, лома́ и большие молота́ пусть поднимут. Раствор пока не надо.

ГУРВИЧ уходит, за ним ХОМИЧ. Справа выглядывает ЖЕНЬКА, он раскатисто кричит вниз.

Женька. Э-эй! Ар-тисты! Идите в инструменталку, возьмите два лома, два больших молота, тащите на подъё-омник! *(Скрывается.)*

Фомин. Павел! Ты хоть ломай так, чтоб кирпичи целые оставались.

Гай. Ну, покажите — так, чтоб целые?

ФОМИН машет рукой, уходит.

(Подносчикам-работягам.) А вы пока носите — на ту кладку. *(Показывает налево.)* Шура, иди и ты туда, кирпич перекидывай.

ШУРОЧКА уходит. Подносчики начинают носить кирпичи налево. Гай садится.

Граня. А мне куда, Паша?

Гай. Сейчас. И тебе работу найдем.

Граня. Смел ты! Один на двоих, да еще таких.

Гай. А с ними иначе нельзя. Этих блатарей, паразитов, я с первой пересылки бью и до последнего лагеря буду бить. Мы — «враги», а они — «друзья народа»! Наверно, их начальство для того и держит, чтоб нашу кровь сосать. Отдали им пятьдесят восьмую терзать, не отделяют ни в камерах, ни в этапах... А наши — боятся.

Кран подымает ломы и молоты. Каменщики разбирают их и начинают бить стену. Она поддается — кирпичами и слитками их. Гай сидит мрачно.

Граня. Ты всё хмуришься. Как бригаду накормить?

Г а й. Пропади оно, это бригадирство, зачем я за него взялся! Если работяга ослаб и нормы не одолевает — что мне остается? По спине его?

Г р а н я. Павел! Ну, бригадир всё равно будет, не ты, так другой. Да стерва попадется. Работягам только хуже.

Г а й. Так рассуждать — знаешь... *(Задумывается.)*

Долгая пауза. Рабочие шумы стройки.

Моя дивизия на Эльбе войну кончила, а я — здесь... Теперь дезертиров отпустили, фронтовиков держат. Куда всё — идет? Как это понять? И что надо делать?

Г р а н я. Ну почему, Паша, это всё твоей голове решать?

Г а й. А кому? *(Вздыхает.)* Были у меня друзья по камере в контрразведке — разбросали нас. Кого на Енисей, кого в Джезказган, кого черт знает...

Г р а н я *(берет его за плечи)*. У тебя и здесь друг.

Г а й. Ты — женщина и бытовичка.

Г р а н я. Я фронтá прошла, как и ты. Я немецкого разведчика врукопашную заколола. И те самые переправы видела, что ты. И на тех плацдармах землю грызла.

Г а й. Дадут тебе амнистию — ты через год всё забудешь.

Г р а н я. Ну и ты забудешь.

Г а й. Нет, я не забуду.

Входит ХОМИЧ, но, увидев их, отступает.

Слушай, был у нас в камере человек, говорил так: если б не жили люди семьями — ни один тиран не удержался бы на троне. Снесли б его, как водой! То-то и оно, что нам шею ломают, а мы всё семьями обзаводимся.

Г р а н я. Паша! Ну что ты сравниваешь — ну какая тут семья?

Г а й. Всё равно, эта любовь нам все руки-ноги путает. Теперь завели моду при КВЧ танцевать под баян. Так что? Танцуют! Десять лет им влепили ни за хрен, дуракам, — танцуют!!

Г р а н я. Э-э-эх, горюшко ты мое, горе... Пожалеешь когда-нибудь и ты обо мне...

Где-то за зданием внизу раздается звон об рельс. Каменщики бросают работу. Справа входит ЖЕНЬКА.

Ж е н ь к а. Таш-кент! Наша бригада на обед последняя!.. *(Ложится.)*

2-й каменщик. Правда, братцы, ночью был шмон, не доспали, давайте поспим!

Каменщики располагаются на подмостках. Гай идет на середину сцены, ложится навзничь, неподвижен. Вместо него к Гране садится ШУРОЧКА, она рассматривает себя в карманное зеркальце.

Шурочка. Годы идут, Граня... Надо в лагере замуж выходить. Кому мы потом на воле?.. *(Пауза.)* Правду говорят, тебе Борис хлеборезку предлагал, а ты отказалась?

Граня. Предлагал.

Шурочка. Ну знаешь, ты в гнилого интеллигента превращаешься. Это редкий в лагере человек, кто б от хлеборезки сам отказался. Сыта, к зиме тепло, в юбочке, в блузочке, — а тут вата вон из брюк вылезает, да машина ОСО, две ручки, одно колесо...

Граня. С какой душой можно работягу обвесить хоть на грамм?.. Я для себя решила: по-лагерному не жить. Лишь бы мне сволочью не стать! — а жива-нежива — какая разница?

Снова появляется ХОМИЧ, проходит впереди.

Хомич. Здравствуй, Граня.

Пауза. Граня поднимается ему навстречу.

Слушайте, леди, давно хочу вас спросить: с бригадиром уже... у-гм? Нормально?

Граня *(с догадкой)*. Да ты не на этап ли его метишь?..

Хомич. Что это, от меня зависит? *(Хочет пройти, она его задерживает.)*

Граня. Слушай... Давно и я хочу тебя спросить... А ты... в оперативной части... подрабатываешь?

Хомич *(отшатываясь)*. Ты обнаглела! Пусти!

Граня *(держит его)*. Ты, может, на него... материальчик оформляешь? *(Трясет его.)* Слушай! Если только опер начнет ему мотать... Или на этап его отправят... я тебя — убью!!

Хомич. Ты с ума сошла. Причем буду я?

Граня. Смотри, я словами не бросаюсь. Не такого, как ты, убила, а тебя мне убить — что гусеницу раздавить... зеленую... *(Отталкивает.)*

Хомич. Ты какая-то заклятая. Я таких женщин не встречал никогда. У тебя сердца нет...

Никем не замеченные справа бесшумно вбегают ЖОРИК и ФИКСАТЫЙ и бросаются душить и бить спящего Гая. Первый их замечает ХОМИЧ — и убегает налево, еще остановясь, чтоб оглянуться. Граня коротко вскрикивает, Шурочка — пронзительно, разбудив всех. Работяги поднимаются, однако никто не решается приблизиться, некоторые притворяются спящими опять.

Граня. Ну что же вы! Спасайте бригадира! Вы, пятьдесят восьмая дерьмовая, черт бы вас драл!

Граня впивается в одного из блатных. Хрипение. Стоны и бессвязные выкрики борьбы. Гай мучительно-постепенно начинает подыматься, и все четверо беспорядочной кучей заваливаются направо, скрывшись от зрителя.

Все остальные только наблюдают, Шурочка взвизгивает.

Справа на сцену влетает и валится, отброшенный мощным ударом, ЖОРИК. Отступая под частыми ударами короткой тесины из рук ГАЯ, — ФИКСАТЫЙ падает на шлак между балками и тщетно пытается встать. За ними — ГРАНЯ, пошатываясь. Гай стоит между упавшими и, задыхаясь, измученно-ленивыми движениями бьет поочередно по голове того и другого. Тесина ломается. Гай ищет другую, в этот момент слева вбегает ЛЁНЬЧИК. Он бежит балетно, легко перепрыгивает через сидящего работягу, при этом налету оборачивает фуражку козырьком на затылок. Граня только успевает крикнуть: «Сзади! Сзади!» Едва обернувшись, Гай встречает Лёньчика, они катятся, вскакивают уже на парапете задней стены и пытаются столкнуть друг друга с крыши. Фиксатый сидит, очумев, в крови. Жорик поднимается с ножом и метит Гаю в спину. Граня ударяет его тесиной по голове, подхватывает выроненный нож, взбегает на левый пилястр. Жорик снизу толкает ее длинной тесиной за стену, Граня, едва не сорвавшись, перехватывает доску, они борются за нее.

Лёньчик. Фашист, падло!

Гай. Кто фашист? Кто фашист?

Упав, борются на парапете. Висящая люлька подъемника показывает обрез стены. Фиксатый встает, подхватывает лом и идет к ним. Но справа вбегает в своей изорванной спецовке и лихой шапчёнке ЧЕГЕНЁВ и, сразу оценив обстановку, догоняет Фиксатого, вырывает у него лом уже на размахе и ломом бьет. Фиксатый падает с криком. Жорик обернулся, покидает Граню, бросается на Чегенева. Тот сильно размахивается ломом, но Жорик уворачивается, и, сцепившись, они катятся. Гай ухватывает Лёньчика за горло обеими руками, перетягивает за стену и держит на весу.

Гай. Опустить? Опустить, гад, с четвертого этажа? Кто́ фа-

шист? Говори, кто́ фашист? *(За шею же поднимает Лёньчика на стену, оставляет на парапете.)*

Граня, убежав с пилястра по разрушаемой стене, сверху бросает Гаю нож.

Г р а н я. Держи, Паша!

Г а й *(поймав)*. Хор-рошая финочка!

Фиксатый встает, Граня прыгает на него, сбивает с ног. Жорик одолел Чегенёва, душит. Гай бежит, сваливает Жорика вниз, наступает на него, заносит нож.

Ну, господин блатной, молись своему богу!

Ж о р и к *(гадко)*. Прости, Паша!

Л ё н ь ч и к *(сидя)*. Павло! Друзья будем. Слово вора, век свободы не видать! Мир.

Г а й *(торжествующе оглядывая всех троих)*. Что-о, социально-близкие? Теперь честное благородное? *(Жорику и Фиксатому.)* Там *(указывает направо)* осталось четыреста кирпичей, — чтобы к концу перерыва они были *(указывает за сцену налево)* на рабочем месте! Марш!

ФИКСАТЫЙ и ЖОРИК берут носилки и уходят направо. Чегенёв сидит отдуваясь.

Г а й *(Чегенёву)*. Спасибо, казак!

Л ё н ь ч и к *(щупая шею)*. Ну и грабли у тебя.

Г а й. Это что, по вашему з а к о н у — на сонного нападать?

Л ё н ь ч и к. Они без меня напали.

Г а й. Только за то я тебя и со стены не спустил. Ты у них — пахан, пойди политбеседу проведи.

Л ё н ь ч и к. Всё! Друзья, сказал. *(Каменщикам.)* А вы, мужики, *(грозит)* молчите, что воров побили! Молчите! *(Уходит направо.)*

Ш у р о ч к а *(молитвенно)*. Вы — античный герой, Павел Тарасович!

Г а й. Сволочи! Если б не на сонного, я б их не так измолотил...

Гай всё еще не может отдышаться. В опущенной руке его — нож. Граня подходит к нему сзади, обнимает, кладет голову на плечо. Справа появляется ЖОРИК и ФИКСАТЫЙ с носилками, где штук пятьдесят кирпичей. Пока они пересекают сцену, закрывается

разрисованный занавес.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

КОНЦЕРТ

Просторная комната с временными полами и неоштукатуренными, только одранкованными стенами. В задней стене — два высоких окна, за ними — густая ночь. В комнате — яркий свет. У левой стены — несколько приступков наверх, к двери на «сцену». Ближе — ширмочка из декорации к какой-то пьесе, поставленная для переодевания женщин. Около ширмочки, почти на авансцене — скамья, прислоном, на ней сидят НЕМОВ в черном, лагерном, и ЛЮБА, одетая для концерта.

Комната наполнена возбужденной суетой: переодеваются, репетируют, ищут не достающие по ходу представления вещи, убегают на «сцену» и возвращаются, дверь туда часто остается открытой, и тогда слышны отрывки водевиля, действующие лица которого:

— глупый немецкий офицер — нарядчик КОСТЯ
— его денщик-идиот
— старуха в платке
— ее дочь-подпольщица — ШУРОЧКА
— внук пионер — ДИМКА
— страшный чернобородый партизан, идущий на «сцену» только к развязке.

Небольшой эстрадный оркестр и с ним ЖЕНЬКА сбились справа в глубине, пытаются тихо репетировать, но получается громко. Больше всех носится расторопный рыжий конферансье ВИТЬКА.

Конферансье *(оркестру)*. Тихо, орлы!

Кто-то. Витька! Ужин артистам будет?

Конферансье. Сигнальщик передал — повар в бухгалтерии! *(Убегает.)*

Входит ГОНТУАР.

Гонтуар *(устало)*. Пионер! Неси ружье.

ДИМКА уходит с бутафорским ружьем.

Женька *(проверяя голос)*.

Мы летим, ковыляя во мгле,
На честном слове и на одном крыле.

Голос Кости со «сцены». Их верде вас всех перестрелять, руссише швайне!

Конферансье *(вбегая)*. Где макитра? Что вы делаете!

Несут бутафорскую макитру.

К т о - т о. Витька! Повтори, кто за кем.

К о н ф е р а н с ь е. Женька! Вот лейтенант записку прислал: «Песню американского бомбардировщика» не пускать!

Ж е н ь к а. Почему не пускать? Союзники!

К о н ф е р а н с ь е. Ну почему, почему! Были когда-то! Почему! Дуй «Синий платочек». Внимание, друзья! После водевиля «Глупый немец» — сразу оркестр, «Песню о родине», вторым номером Негневицкая, потом Женька — «Синий платочек», потом Димка — «казачок», опять Негневицкая, марш, оркестр уходит и — «Волки и овцы».

Гул среди артистов.

Ш у р о ч к а. Камилл Леопольдович, ну как идет?

Из «зала» — громкие аплодисменты.

Г о н т у а р. Вы же слышите сами... «Допущено внутри ГУЛАГа»!

К о н ф е р а н с ь е. Не знаю, не знаю, не знаю! *(Убегает.)*

С о «с ц е н ы». Ты думаешь, как я старуха, так я ваших танков испугалась? Переведи ему, внучек, — да здравствуют колхозы!

Аплодисменты.

Г о н т у а р *(говорит безо всякого иностранного акцента)*. О таком ли искусстве мечтали мы, когда в девятнадцатом году ехали в молодую Россию энтузиастов создавать неотеатр, невиданный в истории человечества?!

Мы радугу тебе — дугой!
А Млечный Путь — на сбрую! —
О, вывези наш шар земной
На колею иную!

(Садится гримироваться под Лыняева.)

ШУРОЧКА уходит на «сцену».

Ж е н ь к а *(поет печально)*.

Мы летим, ковыляя во мгле,
На честном слове и на одном крыле...

Л ю б а. Мне было шесть лет тогда. Я смутно помню огромную баржу с раскулаченными. В трюме не было ни перегородок,

ни этажей, просто лежали люди на людях. Может, потому, что я была маленькая, — стены баржи казались мне высокими, как утесы, — и там, на самом верху, ходили часовые с винтовками. Ссылали всю нашу семью, но два старших брата уже не жили с нами, их не коснулось. От последней пересылки они догоняли нас в лодке и всё искали случая выручить семью. Это не удалось, но начальнику конвоя они отдали рубашку с застежкой «молния» — тогда такие только входили в моду — и он продал им меня. Как меня брали — не помню, не помню... Ехали потом в лодке, и очень сверкала вода от солнца.

Немов. А родители?

Люба. Все умерли в тундре, Родя, умерли с голоду, их пустили без ничего в голую тундру — как же проживешь?

Конферансье. Братцы, внимание! От советского информбюро! Ужин — утвержден! Содержание выясняется.

Оркестр негромко играет туш.

Люба. А как мы жили потом! Комнаты не было, пять лет в темных проходных сенях, нет даже окна, чтобы готовить уроки. В школу всегда иду одетая, как нищая, есть хочется. И нельзя жаловаться, нельзя просить помощи, чтоб никто не узнал, что мы раскулаченные. А одеваться хочется! И в кино хочется! Брат женился, свои дети... И в четырнадцать лет меня выдали замуж...

Немов. Че-тырнадцати?..

Водевиль кончился. Шум, движение. ШУРОЧКА бежит за ширму переодеваться.

Конферансье. Оркестр, на сцену! Любка, приготовься!

Голоса. Да ты целый кусок пропустил!

— Я потом вернулся.

— Где вазелин?

— Кто на платьях сидел, что за хамство?

— Ой, жа-ра!

«Старуха» в сбившемся платке прыжком садится на стол, лихо закуривает.

«Старуха» *(оркестру)*. Привет босякам Москвы!

Димка. Камилл Леопольдович! А я здóрово роль знал!

Кто-то. Малолетка! А за что ты сидишь?

Димка. А я из ремесленного убёг. Жрать ни хрена не давали.

Кто-то. Еще хуже попал.

Димка. Хо! Теперь я какую пайку имею! И жить научился.

Гонтуар *(гримируясь)*. И что же ты понимаешь под словом жить?

Димка. А чтоб не ишачить. Пусть другие ишачат. *(Переодевается в казачка для пляски.)*

ШУРОЧКА выходит из-за ширмы в костюме Глафиры из «Волков и овец».

Шурочка. Что вы со мной сделали! Я такая нервная, я такая нервная!!

Немов *(удерживая Любу)*. Подожди минутку!

Люба. Мне идет это платье?

Немов. Что тебе не идет!

Люба. Я обожаю выступать, и чтобы к каждому номеру в новом платье!

Конферансье. Любка! Сколько раз говорить!

ЛЮБА убегает. Немов неотрывно смотрит вслед.

Шурочка *(уже гримируясь)*. Родион Павлыч, вы слышали, как Леопольдович читал сегодня Толстого?

Немов. А?

Шурочка. Чему вы там улыбаетесь?

Немов. Улыбаюсь?

Шурочка. Обидно, так плохо слушали, разговаривали. Во всем зале могло быть только несколько ценителей — и вот вы не слышали!.. Это из «Войны и мира», отрывок о дубе.

Немов *(оживляясь)*. О черном дубе, который зазеленел?!

Гонтуар. Я неисправим. Мне всё хочется верить, что красивое приподнимает людей. Мне всё хочется кого-то подбодрить, что в жизни не только баланда, развод и шмон.

Конферансье. «Синий платочек»! Приготовиться! Внимание, друзья! Дополнительный ужин уточнён: по одному пончику и по две ложки рисовой каши!

Шурочка. Рисовой? Ты бредишь! Да разве на свете есть рис?

Кто-то. А что́ это такое?

Конферансье убегает, оставив дверь раскрытой. Слышно, как Люба кончает петь

А тебя об одном попрошу —
Ты напрасно меня не испытывай.
Я на свадьбу тебя приглашу,
А на бо́льшее ты не рассчитывай!

Долгие шумные аплодисменты, крики «бис!». ЛЮБА появляется в дверях, но возвращается на «сцену».

Шурочка. Камилл Леопольдович! Ходит параша, что на днях будет большой этап. Пятьдесят восьмой статьи.

Гонтуар. Перед праздником — вполне допускаю. Но бывает ли в лагере хоть один день без параш?

Шурочка. Ой, сил нет еще куда-нибудь ехать на зиму! Хоть бы этапами нас не мучили!

ЛЮБА вбегает, но, едва добежав до Немова, убегает опять. Аплодисменты.

Гонтуар. Я вот слышал другое, вы не слышали? Что перед нашим приездом арестовали здесь — ну, взяли в шизо — одного молоденького поэта — стихи у него фельдшер вытащил из-под подушки. И теперь под следствием, говорят, он умирает...

Аплодисменты. Возвращается ЛЮБА, сияющая, стремительная.

Шурочка. Я поздравляю тебя, Люба. Ты — почти как Шульженко.

Люба. Правда? Ты заметила? Все говорят, что я на нее очень похожа. И — попала в тональность, боялась не попасть. Ну, переодеваться! Родик, быстро, помогай!

Она забегает за ширму, оттуда время от времени появляется ее обнаженная рука, подающая или берущая от Немова что-нибудь из частей туалета, сложенных на скамье.

Люба *(из-за ширмы)*. Возьми!.. На, положи!.. Вон то, под голубеньким!.. Да осторожней, не помни́, это же всё чужое, от вольняшек. Иди застегни мне! Сюда иди, сюда!

Немов обходит ширму с задней от зрителя стороны, скрывается там. Потом ширма сама поворачивается так, что открывает Любу и Немова зрителям, но скрывает от остальной комнаты. Люба смотрится в ручное зеркало. Немов застегивает ей сзади платье, целует в шею, обнимает, оборачивает к себе. Долгий поцелуй.

Немов. Любонька! Что со мной?..

Люба. А что с тобой? *(Целуются.)*

Немов. Кто-то тебя так научил целоваться?

Люба. Научи-илась... *(Целуются.)*

Немов. Ты... просто отчаянная какая-то. Ты меня... выпиваешь всего. Я теперь не буду без тебя, слышишь? Я не могу без тебя!..

Л ю б а . Сегодня познакомились — и уже не можешь?

Н е м о в . С тех пор, как я арестован — я как в черном дыму, я улыбаться перестал. А с тобой мне так хорошо стало, будто ты меня о с в о б о д и л а ! На волю выпустила!

Л ю б а . Говори еще...

Н е м о в . После этой твоей баржи, этих темных сеней — ты мне как сестрёнка обиженная младшая! И вдруг — так невозможно целуешься, в руках так бьешься! Я — полюбил тебя, Любонька!..

Л ю б а . Как это может быть? У тебя жена...

Н е м о в . Где-то за тридевять проволок и на десять лет... Я сам не понимаю, как это может быть...

Л ю б а . Ты не знаешь, какая я... Первый муж меня бил, я от него ушла, второй беспутничал, а когда меня арестовали — отказался от меня. С тех пор...

Н е м о в . Бедная ты моя, бедная...

Л ю б а . Я совсем не бедная, Родик. С тех пор я — жила не с одним...

Н е м о в *(вздрагивая)*. Со многими?

Л ю б а . Не с одним... Ты не можешь меня любить.

Н е м о в . Любушка! Но ведь тебе пришлось так, ты... не из жадности?

Л ю б а . А если как раз — из жадности?.. Ты думаешь — замужество в четырнадцать лет проходит даром?

Н е м о в . Люба! Тебя для этого ли спасали с баржи!?

Л ю б а *(оплетая ему шею)*. Нежный ты мой! Почему я раньше тебя не встретила?..

К о н ф е р а н с ь е . Любка! Где ты есть? На сцену!

Л ю б а *(еще целует Родиона)*. И-ду!.. *(Медленным безвольным шагом уходит.)*

Немов опускается на скамью, перебирает пальцами платье, снятое Любой. Кто-то тихо играет на гитаре в дальнем углу.

Ш у р о ч к а *(в сторону Немова, внятно)*. «Я вам говорила, что любовь, кроме страданий, ничего не доставит...»

Немов оглядывается.

Это я роль повторяю, роль. Это Островский написал. Вы так сияете! Вам подарили неразменный целковый? Честное слово, я вам завидую.

Н е м о в . Я сам себе... завидую.

Ш у р о ч к а *(наклоняясь к нему)*. Вы — в с ё знаете о Любе?

Немов *(раздельно)*. Я ничего не хочу знать.

Шурочка отходит. Слышно пение Любы. Подходит уже разгримированный КОСТЯ в своей обычной военной форме.

Костя. Ну, как живешь, Родион? Ты, я вижу, не теряешься?

Немов. А ты?

Костя. Я — нормально. Ну, немножко хреново. С кублóм разошелся. Рубен, гадища, сети плетет. Хомич выгрябывается. С тобой я попух отчасти, не думал, что ты так скоро загремишь. Кажется, в общем, горю. *(Отходит.)*

Бурные аплодисменты. Не сразу возвращается ЛЮБА, когда оркестр уже играет марш. Она молча садится около Родиона. Он берéт ее за руку.

Конферансье. Камилл Леопольдович! «Волки и овцы» — на старт! Любка, расти! — тебе хлопал сам начальник лагеря! *(Убегает.)*

Люба. Почему ты не ходил меня слушать?

Немов. Где мы встретимся? Одни!..

Люба. Родик! А может — не нужно?

Немов. Нет, абсолютно нужно! Я теперь не оторвусь от тебя!

Люба *(вздыхает)*. Давай я буду твоя сестра! Я буду хорошáя сестра, увидишь.

Немов. Нет! *(Оглядывается, увлекает Любу за ширму. Целуются.)* После твоего поцелуя мне — хоть и не жить... Где ты так целоваться научилась?..

Люба *(ласкается)*. Если б я могла перемениться для тебя! Стать чистенькой-чистенькой!

Немов. Где мы встретимся? Где?

Люба. Ну что ж, в литейку к тебе буду приходить... на чердак, где кокс. *(Пауза.)* Обязательно, да? Обязательно? *(Выходят, садятся на скамью.)* А что будет из этого, ты не думаешь? *(Со внезапной силой.)* Скажи, родной! А ты есть не хочешь сейчас? Я есть хочу! Я голодна! Я всю жизнь хотела есть!! Разве мы с тобой в лагере проживем? Устраиваться ты не умеешь, работать ты ничего не умеешь. Один ты еще как-нибудь выплывешь, а со мной потонешь. Да ты сам скоро откажешься от меня.

Немов. Нет! Ни за что!!

Люба. Прораб меня выгонит на общие...

Немов *(с тревогой)*. Прораб зачем тебя взял в посыльные?

Люба. Это принято в лагерях. Так делают все...

Немов. И ты с ним?!.

Люба. Да пока еще нет. Просто некогда ему. То к телефону...

Немов. Но если завтра у него будет время?..

Люба. А ты мне другого такого места не найдешь?

Немов. Люба! Люба! С этого дня...

Люба. Ну зачем я тебе! Ведь я же — лагерная шалашовка!..

Шумно вваливается оркестр. Гул голосов. Кладут инструменты. Гонтуар и Шурочка идут на сцену, навстречу им КОЛОДЕЙ, ХОМИЧ, МЕРЕЩУН.

Колодей. Ух какой ты размазался! Смешная будет пьеса?

Гонтуар. Смешная.

Колодей. Значит, посмеемся. После работы — почему не посмеяться? А то ты рассказывал что-то, как кота за хвост тянул — дуб да ёлки, уж и так лесоповал всем надоел.

ГОНТУАР уходит. Мерещун громко смеется.

Нет, правда, в том дубе, может, каких четыре кубометра, а разговору!

Хомич. Где она? Где она, обольстительница? Любочка! Пела — блистательно, а сама — помпезна! Успех — голливудский! Сам начальник лагеря хлопал! Поздравляю! *(Жмёт руку.)*

Колодей *(обходя комнату)*. Ну, как тут? Режима не нарушаете?

Мерещун. Любочка! Сколько огня, сколько экспрессии! *(Жмет ей руку, садится рядом на скамью, по другую сторону от Немова.)* Слушал Шульженко — ты ничуть не хуже! Сейчас бы в Сочи телеграмму — чтоб тебе букет! самолетом!

Люба *(польщена)*. Спасибо, спасибо!

Мерещун *(беря ее за локоть)*. А почему в санчасть никогда не зайдем? На пару деньков освободить тебя перед праздниками?

Люба. А зачем? Я не больна.

Мерещун. Ну ка-ак зачем! Женские дела — голову помыть спокойно, постирать там. Приходи завтра, освобожу. Придешь?

Хомич. Ну как, Немов, в литейке? тяжело? Понимаете, сижу целыми днями, думаю — ничего не могу для вас выдумать.

Немов. Я благодарен. Я лучшего не просил.

Хомич. Ну да, но культурные люди должны быть джентльменами, надо помогать, надо выручать... *(Увидев Женьку.)* Слушайте, мистер, вы же прекрасно поете, но почему не классику?

Женька. Я уж писал домой, чтоб мне Чайковского...

Хомич. Зачем Чайковского? Возьми ты «Цыганский барон», возьми «Голубая мазурка»...

Конферансье. Кто в зал — проходи! Начинаем!

Уходит большинство АРТИСТОВ, ХОМИЧ.

Колодей. Не начинайте! Еще я пойду. *(Немову.)* Алё! А ты что здесь? Встань, когда с тобой говорят.

Немов встает.

Зачем ты здесь?

Немов. Так просто, гражданин начальник.

Колодей. Так просто не бывает. У заключенных всегда задние мысли. Ты же не артист? Иди в зал.

Немов. Гражданин начальник, какая разница? Я отсюда смотрю.

Колодей. Не положено отсюда смотреть. Был зав. производством — смотри, откуда хочешь. А сейчас работяга? Кончились денечки, иди, где все.

Немов. Разрешите, я останусь, гражданин начальник.

Колодей *(сердясь)*. Говорю — не положено! Тут — зона рядом. Может, ты побег готовишь. Иди, иди, пока в кондей не послали.

НЕМОВ уходит, оглядываясь на Любу.

Доктор!

Мерещун *(сидя)*. Что скажешь, начальник?

Колодей *(тихо)*. Там спирт есть у тебя?

Мерещун. Вообще нет. Но для тебя поищем.

Колодей. А для других и не надо. Грамм сто приготовь. Приду после концерта.

Мерещун. Ладно.

Колодей. Ну так что? Начинаете? Пойдем посмеемся. *(Уходит.)*

Спектакль почти не слышен. В комнате остался мало кто.

Мерещун. Люба, я был в армии начсандив, полковник, так что мне садиться было тяжелей, чем другим. Но хлебнул

я тридцать дней общих работ, опухли ноги, так что сапог снять не могли — смирился. И теперь меня из санчасти калачом не выманишь. Любочка! Санчасть в лагере — это всё! Я тебя в санчасти устрою. Раздатчицей.

Л ю б а . Я и так устроена...

М е р е щ у н . Посыльной? Тоже мне устроена! Устраиваться надо, чтоб за зону не ходить, чтобы до конца срока! Я только молчу, а знаешь, какие корни я здесь пустил? Скорей начальника лагеря на этап шуганут, чем меня. Ты думаешь, я тебя на одну ночь зову? Любочка, нет! В з а к о н е будем! Будем ж и т ь .

Люба молчит.

М е р е щ у н . Сейчас посылка пришла. *(Берет ее за руки.)* Ты — настоящие пирожные сколько лет, как не ела? Настоящие пирожные «Наполеон»! Колбаса настоящая! Американская тушёнка — мечта!

Л ю б а *(отнимает руки)*. Очень рада за вас, доктор. Вот и покушайте с кем-нибудь... с другой...

М е р е щ у н . А я с тобой хочу, Любочка! *(Обнимает ее.)*

Л ю б а *(слабым голосом)*. Доктор! Кто может устоять?.. Любая женщина в лагере — ваша. Ну, не на мне же клином... Мне так тяжело слышать сейчас это всё... *(Освобождается от его рук. Сидит понурясь.)*

Одинокий оркестрант издает печальные звуки на духовом.

Разрисованный занавес

В а н т р а к т е , как и в двух первых — смена часовых на вышках. Р а з в о д проходит перед первым рядом партера, отгоняя попавшихся зрителей.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

БРОНЗА ПОШЛА!

Литейка. Печь для бронзы перестроена еще на новый лад. В щели ее иногда виден огонек. Около печи — МУНИЦА и ЯХИМЧУК. Муница очень суетлив, все время заглядывает в смотровое окошечко. Яхимчук — сдержан. Близ печи — несколько заформованных опок. НЕМОВ лопатой перемешивает

формовочную землю. Дверь сушилки распахнута. На крыше сушилки ЧЕГЕНЕВ прибирает хлам.

Муница. Плавится, проститутка, плавится! *(Приплясывает.)* За яких пьятнадцать хвылын пиде бронза перший кляс!

Чегенев. Теперь пойдет, как батя тебе помог.

Муница. А що мэни Николай? Я сам мав и липше збудовать. Мэни видомо, що форсунку потрибно малэньку.

Яхимчук. Як то́ така дурныця — що ж вы нэ допэклы́? Що ж ваша бронза выгорала дочи́ста?

Чегенев *(разбирая хлам)*. Арматура, трубы, опоки, вот набралось! Что б мы делали, если б праздников не было, а? Сейчас всё, что нужно, что не нужно в печку покидаю, и будет у меня порядок!

Слева входит ЛЮБА в запахнутой телогрейке, дверь за ней сильно хлопает.

Люба. Тут Кузнецова не было?

Литейщики, занятые каждый своим делом, не отвечают. Люба делает знак Немову, тихо идет к сушилке. Немов за ней. Стоя в дверях сушилки, зияющей чернотою, как пещера, они разговаривают тихо.

Немов. Что ты, Лю?

Люба *(в большом волнении)*. Родик! *(Обнимает его.)* Я — на всякий случай... Попрощаться!

Немов. Этап? Да?

Люба. Этап.

Немов. Но подожди, может, мы еще... может, нас?..

Люба. Неужели ты думаешь, Тимофей стерпит всё, как сейчас есть? Или тебя, или меня... *(Пауза.)* Хорошо тебе было эту недельку... со мной?

Немов *(гладя ее лицо)*. Так хорошо!.. Столько счастья!..

Люба. Спасибо и тебе! Я эту недельку глубоко спрячу, я ее — навсегда...

Немов. Слушай, ну неужели мы ничего не можем?..

Люба *(живо)*. Можем! Мы можем и уцелеть! Мы можем и любить друг друга очень-очень тайком, — только обещай... только согласись... Разделить меня. С Тимофеем. Я буду приносить тебе и покушать!

Немов. И ты могла бы?..

Люба. Я бы могла! Братик мой — ты сможешь? Ну примирись! Зачем тебе уезжать? Ну, я хоть буду видеть тебя издали...

Немов *(сжимает ее)*. Никому ни кусочка тебя, Любашенька!

Л ю б а *(высвобождаясь, печально).* Ну, значит, тогда... всю меня... Тогда — всю... *(Медленно отступает к главной двери.)*

Дверь хлопает, вбегает радостный ДИМКА.

Д и м к а. Ура-а! Звезду зажгли! На главном корпусе! Ура-а! *(Сделав круг и едва не сшибив Любы, убегает.)*

Дверь хлопает. Немов неподвижен. ЛЮБА уходит. Дверь хлопает.

Ч е г е н е в *(присел на сушилке, посмотрел через верхние окна, куда указал Димка. С верха сушилки подражает приемам оратора).* Товарищи, внимание! Сегодняшнее празднование в нашем лагере будет отмечено особенно торжественно. На повестке дня. Первое. Доблестная трудовая вахта Макара. Второе. Этап непокорных на лесоповал, человек сорок-пятьдесят.

Я х и м ч у к. Ты накаркаешь.

Ч е г е н е в. Третье. Отнесли Игорька в морг и прокололи штыком. Четвертое. Шмон в бараках со взламыванием полов и переворачиванием матрасов. Пятое. Шмон на вахте со снятием кальсон. Шестое. Стахановский слёт лучших работяг с выдачей каждому по одному пирожку с пшеном, а мука и пшено будут удержаны со всего лагеря за следующую неделю. Седьмое. Бесплатное кино «Сталин в 1905-м году» с давкой в дверях и сидением на головах. Эх-ма́, да не до-ма́! *(Вскакивает верхом на подходящий предмет.)* По ко-ням! Сабли вон! *(Делает вид, что скачет, размахивает воображаемой саблей. Локти его вылезают в прорехи рукавов.)*

Я х и м ч у к. Ой, шпана, докричишься ты.

Ч е г е н е в. Да будь оно проклято, батя, ты думаешь я за литейку держусь? Ну, дали бы мне лет пять, я бы в охотку погорбил, — ну зачем пятнадцать сунули? Пятнадцать — зачем? Нет уж, остаток срока пусть мне пахан сухим пайком выдает!

М у н и ц а. Як то — сухим пайком?

Ч е г е н е в *(показывает на кончике пальца).* Девять грамм. *(Показывает себе в голову и свисает, как умер.)*

Входят КАПЛЮЖНИКОВ — дородный опрятный мужчина в хорошей шубе, ГУРВИЧ и БРЫЛОВ. Ветер еще сильней захлопывает за ними дверь. Они не замечают Чегенева, тот бесшумно принимает рабочее положение, еще некоторое время убирает на сушилке, позже соскакивает вниз. Немов перелопачивает формовочную землю.

Б р ы л о в. Товарищ главный инженер! У Брылова — твердо

слово. Я сказал: будет бронза. И будет. Я понимаю — экскаваторы стоят. По моей инициативе.

Гурвич. По чьей инициативе — это мы не здесь обсудим. Ты мне палки в колеса...

Брылов. Эх, Арнольд Ефимыч, стыдно вам так говорить! Добрую лошадь одной рукой бей, другой слезы утирай. Вы ходите командуете, а я сижу над печкой, голову ломаю... Спросите ребят!

Мунича *(хохочет и бьет себя по ляжкам)*. За яких пять хвылын — и бронза! Макар литейное дило розумие!

Яхимчук *(опершись о счищалку, как о долгий меч)*. Вы бы, Макар, показали лучше гражданину начальнику, яки у вас штаны.

Макар показывает. Брюки его совсем изорваны.

Каплюжников. Гурвич! Правда, почему спецовок им не выдаешь?

Гурвич. Илья Афанасьевич, но вы же сами знаете — в тресте на это нет фондов.

Каплюжников. Фондов нет? Ну, в лагерь напиши, может, там что найдут...

Яхимчук. Там — не обязаны. Потом у нас горячий цех, мы такие ж рабочие — почему нам молока не дают, как вольным?

Каплюжников *(изумлен)*. Молока-а вам? Еще чего! Может, меду пчелиного? А? Ну, знаете, товарищи... то есть не товарищи... Так можно дойти до... я не знаю... С этим сейчас трудности, понятно?

Яхимчук. Всё понятно, гражданин начальник. Шаг вправо, шаг влево — конвой открывает огонь.

Каплюжников *(как бы не дослышав)*. Гурвич! А когда будут балки, плиты?

Гурвич. Брылов! Как с чугуном? Почему чугуна не наформовано?

Брылов. Яхимчук! Чугун подан наверх?

Яхимчук. Да что чугун подать? — два дня. А формовать кто будет?

Брылов *(Гурвичу)*. Чегенев формует, что попроще, а Макар бронзой занят. Не разорваться.

Гурвич. Илья Афанасьевич! Чугун из-за бронзы задерживается.

Каплюжников. Э-э нет, товарищи, так не пойдет. Наше производство — всё дай! И бронзу дай, и чугун дай! Бронзу

отольете — похвалим, чугун сорвёте — под суд. А как вы думали?

Гурвич. Брылов! Чтоб через три дня чугунная плавка была! Причем тут бронза? Не успевает Макар за день? — пусть вечерами формует, пусть на праздники. Я ему дополнительный конвой закажу.

Брылов. Всё, Макар. Через два дня плавка! На праздники прийдешь — будешь формовать. Николай! Почему чугуна не подаете? Распустились!

Яхимчук. Димка!.. Димка!.. Дэ вин, бисов хлопец?

ДИМКА появляется.

Иди с Родионом чугун подавай. Я бронзу отолью — тоже приду. *(Гурвичу.)* Вы бы лучше заграждения там поставили.

НЕМОВ и ДИМКА уходят в заднюю дверь.

Гурвич. Я вижу, твои литейщики уже за работой не гонятся. Расценки высокие? Можем снизить.

Брылов. Расценок вы не касайтесь, Арнольд Ефимыч.

Гурвич. Потому что ты с них живешь, поэтому?

Каплюжников. И расценки надо пересмотреть, конечно. Так неужели бронза будет, а? Вот и Октябрьской годовщине подарочек. Сейчас же дам в комбинат телеграмму. *(Отводит Гурвича вперед.)*

Брылов подбочается к ним, желая подслушать и вмешаться. На чердаке по железному потолку — время от времени удары бросаемых кусков чугуна.

Надо на эту печь документы в БРИЗ оформить, как на изобретение твое и мое.

Гурвич отводит Каплюжникова от Брылова, Брылов подступает.

Придется и Брылова взять соавтором.

Гурвич. Но ведь он ничего не делал, только мешал.

Каплюжников. Ты не знаешь, какие у него связи в отделе кадров. Он нас доносами закидает. А деньги — порядочные, я уже в месткоме говорил, устроим премирование, тысяч по нескольку обломится, может, и путевки на курорт. *(Кивает Брылову подойти.)*

Все три головы сдвигаются на шепот. Тем временем Яхимчук с Чегеневым подносят к печи ковшик, ставят его в рогач. Муница суетится около печи, смотрит в ее окошечко.

Муница. Ну! Ну! Чекайте!

Брылов отходит от начальства, идет к печи.

Гурвич. Илья Афанасьевич, неужели я без головы? Техника безопасности! А досок на заграждения бухгалтерия не выписывает, в стройматериалах перерасход!

Каплюжников. Значит, надо изыскать. Изыскать надо.

Гурвич. А как я вообще работаю? Сто раз на день меня к телефону, три раза в неделю инструктора, инспектора, через день в тресте совещания, материалы готовь, сводки передавай — а кому-то производство двигать, десятники — пьянствуют, в нормировочном бюро сидят заключенные — доверить не могу, нормы проверь, объемы работ завышены, а там в цеху деталь запороли, там трубы не на месте проложили — траншеи теперь откапывать!.. Я хуже заключенного живу, домой приду — на жену смотреть не хочется.

Каплюжников. Что делать! Я сам пятьсот документов в неделю подписываю. Тоже нелегко... *(Уходит направо.)*

В левую дверь входит НАРЯДЧИК КОСТЯ со списком, за ним — группа ЗЭКОВ, уже в телогрейках и шапках по-зимнему. Ветер гулко хлопает дверью — как выстрелы. Среди вошедших — тревожный шум.

Голоса.

— Кого еще? Кого еще?

— Костя! Куда этап, не знаешь?

Костя. Южный берег Крыма.

Голос. Костя! А меня нет?

Костя. Не галдеть! Кому-то в лоб закатаю! Что, этапа не видели? Ну, литейщики, ветрюган! — списка в руках не удержишь. *(Подошедшему Чегеневу.)* Где Родион?

Чегенев. На этап?

Костя. Был. Санчасть вычеркнула. Только что. *(Уходит.)*

За КОСТЕЙ уходит гурьба ЗЭКОВ.

Еще голоса:

— Если красными вагонами — сейчас все пуговицы обрежут.

— А в столыпине чемоданы разобьют...

— Говорят — на Воркуту...

— Эх ты, жизнь арестантская!

Грозные выстрелы дверью. Справа возвращаются ГУРВИЧ и КАПЛЮЖНИКОВ.

Брылов *(у печи)*. Готово, Макар! Выпускай!

Муница. Зáраз! *(Пробивает лётку.)*

По жёлобу в ковшик льется струя бронзы.

Яхимчук, Брылов *(вместе)*. Довольно! Шлак! Довольно!

Каплюжников. Мало! Мало! Еще!

Яхимчук *(повелительно)*. Затыкай!

Муница затыкает.

Гурвич *(просительно)*. Может, еще можно, Яхимчук?

Яхимчук. Нэ можно! Шлаком втулки загубим. Лучше меньше, да лучше.

Муница очищает поверхность бронзы. Чегенев и Яхимчук несут ковш, льют.

Брылов. Прекрасная плавка! Всё! Экскаваторы пошли!

Муница *(над залитой опокой)*. Ну, що я вам казав? Макар що вам казав? Бу́дэ бронза!

Яхимчук. Еще какая бронза — токарный станок покажет.

Брылов. Ты нам праздник не отравляй. Победа литейного цеха. Всё!

Каплюжников. Оч-чень хорошо! Оч-чень хорошо! Иду давать телеграмму в комбинат. *(Уходит.)*

Муница. Ну, Онуфрич, прэмия бу́дэ, а?

Брылов *(вздыхает)*. То есть как тебе сказать, Макар. Премия — за что премия? Если б это новая была печка! Но она ж не нами выдумана. Мудреное дело корыто! — кто не знает, кораблем назовет. Если б ты не заключенный был — ну, можно, знаешь, на горло брать, до ВЦСПС дойти, до ЦК...

Гурвич. Давай, Макар, давай выбивай! Втулки посмотрим!

Муница. Як выбивать, як воны ще нэ схопылысь? Мусят застыгнуть.

Из заднего помещения сверху громкий крик Димки, потом последнее падение чугуна на потолок. ЧЕГЕНЕВ бросается в заднюю дверь, ЯХИМЧУК за ним.

Гурвич. Что там такое? *(Спешит туда, но в двери сталкивается с Димкой.)*

Димка *(кричит)*. Родиона убило! Чу́шка на голову! *(Убегает наружу.)*

Выстрел двери. ЧЕГЕНЕВ и ЯХИМЧУК вносят НЕМОВА с окровавленной головой, без памяти. Гурвич идет сзади, опустив голову.

Брылов. Что такое? Как случилось?

Яхимчук. Так! Халтурщик вы, а не литейщик! Сколько раз говорено — ведром не поднимать!

НЕМОВА уносят, с трудом открывая дверь против ветра.

Муница *(нагоняя Гурвича)*. Насчёт премии як, гражданин начальник?

Гурвич. Чугун формуй! Чугун!

Разрисованный занавес

В перерыве между этими картинами зажигаются фонари над колючей проволокой, оплетающей барьер оркестра. Они горят до конца спектакля.

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

ЭТАП

Декорации первой картины. Воет и крутит ветер с мелкой позёмкой. Сумерки. За проволокой в рабочей зоне столпились ЛАГЕРНИКИ. Неподвижные, они смотрят сюда, в жилую зону. Человек тридцать уже опрошенных по формулярам других ЛАГЕРНИКОВ сидят посреди двора прямо на земле, с вещами, тесной кучкой. Луч прожектора упирается в нововывешенный плакат: «ЛЮДИ — САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ. И. СТАЛИН». Отправкой распоряжается КОЛОДЕЙ, ему помогает НАДЗИРАТЕЛЬНИЦА с буйными кудрями из-под зимней шапки, фельдшер АГА-МИРЗА, КОСТЯ и ПОСОШКОВ. Светится окошко «кабины» МЕРЕЩУНА. Сам он в белом халате поверх теплой одежды стоит на крылечке.

Справа задним ходом подается тот же грузовик с высокими бортами, что и в первой картине.

Колодей. Давай, кого вызвали, по одному!

Ээки, отталкивая друг друга, начинают быстро карабкаться в кузов.

Конвоир *(с автоматом, стоит в рост в кузове за решеткой, защищающей его)*. Садись! Сразу садись! На пол, не на мешки! Не оборачиваться! Смотреть назад! Кончай разговоры!

Колодей. Нарядчик! Кого нет?

Костя. Вот последние тянутся. Эй, побыстрей!

Слева из-за барака подходят с вещами ГОНТУАР, ГРАНЯ, ШУРОЧКА.

Сержант конвоя. Гоп... Гоп...

Гонтуар. Гонтуар Камилл Леопольдович, 1890-го года, пятьдесят восемь — один «А», через девятнадцатую, десять лет.

Сержант конвоя. А ну шапку сними!

Гонтуар обнажает серебряную голову. Сержант сличает со снимком на «деле».

Непохож что-то... Ну ладно, проходи.

Гонтуар карабкается на грузовик.

Сойкина!

Шурочка *(хлопоча с вещами)*. Соймина Алексан Пал-л-на! Пятьдесят восемь-двенадцать, десять лет!

Она чуть не плачет. И вещи тяжелые. Никто не помогает. Наконец, Костя взбрасывает их в кузов.

Сержант. Зыбина!

Граня *(звонко, зло)*. Аграфена Михална, двадцатого, сто тридцать шестая, десять!

Голос Гая *(из рабочей зоны)*. Прощай, Граня!

Граня *(кричит)*. Прощай, Павел!

Гай. Пиши!

Граня. Поздно!

Гай. Не сдавайся, Граня!

Граня. Не сдамся!

Колодей *(заступая)*. Но-но! Хахаля бросаешь?

Граня *(кричит через него)*. Хомича берегись! Он — стукач!! Точно!

Надзирательница. Смотри, в зубы прикладом, падло!

ГРАНЯ и ШУРОЧКА скрываются в кузове за бортом.

Колодей. Все?

Костя. Все.

Колодей. Давай сюда список. *(Берет у нарядчика. Сержанту конвоя.)* Теперь вычитай.

Сержант конвоя *(у него еще осталось одно «дело» в руках)*. Евдокимов!

Костя. Меня-а? На этап?!

Сержант *(кричит)*. Он же!

Колодей. Тебя, тебя, быстро, конвой ждет!

Сержант. Он же!!

Костя *(отступая)*. Шли бы вы на ...! Не дамся!

Посошков *(приступая)*. Ну, Костя, раз надо, раз надо.

Костя. Отойди, гад! Предатель, падло! Угрёбывай, пока цел! *(Отбегает, вспрыгивает на мусорный ящик, выхватывает нож, обнажает живот.)* Не подходи! Не подходи! — испишусь!

Посошков, Ага-Мирза, надзирательница приступают.

Не подходи, испишусь! В больницу заберёте! Кишки выпущу, не поеду!

Посошков. Костя, Костя! Мы же с тобой друзья. Приказывают, — что делать?

Костя *(размахивая ножом)*. Сука позорная. Помоечник вонючий! Не подходи! Первого зарежу! Испишусь!

Колодей. Взять его!

Наступающие не решаются.

Ага-Мирза. Костя! Тебе же хуже будет. На штрафную пошлют!

Костя. Шкура собачья! Стукач! Испишусь! Не подходи!

Но сзади к нарядчику подкрадывается Мерещун и ударяет его в подколенки. Костя падает. Наступающие набрасываются, валят его, отнимают нож, душат.

Костя *(лежа)*. И ты, доктор? Сволочь! Ну подожди, встретимся!

Мерещун. А что́ ты, гад, — испишешься, а мне тебя лечить?

Колодей. Посошков! Принеси веревку!

Посошков *(достает из кармана)*. Вот она, веревочка! Веревочка запасена, гражданин начальник!

Костю вяжут.

(Кому-то.) Веди его из каптерки — сюда!

Посошков. Ангел! Вещи! Уже всё собрано, гражданин начальник!

АНГЕЛ выносит вещи, вскидывает их в кузов. Связанного Костю подталкивают и сажают туда же.

К о с т я. Развяжите вещи! Вещи не все! Украл, падло! Сапоги мои хромовые отмёл, шакал? Пальто кожаное?

К о л о д е й. Некогда, некогда, конвой ждет.

Задний борт кузова захлопывают.

К о н в о и р в к у з о в е. Внимание, заключенные! При попытке встать рассматриваю как побег, открываю огонь без предупреждения!

Входит ВТОРОЙ АВТОМАТЧИК, автомашина трогается.

К о с т я *(кричит, его уже не видно за бортами).* Никуда из лагерей не денетесь, сволочи! Еще встретимся!

А г а - М и р з а. Ладно, встретимся! Напугал.

Автомашина ушла.

К о л о д е й *(Посошкову).* Сапоги-то взял?

П о с о ш к о в. Полчемодана отмёл, гражданин начальник! И вам будет! Это ж у него всё сдрюченное с людей. И офицерское обмундирование тоже сдрюченное.

К о л о д е й. И ты, доктор, молодчик!

М е р е щ у н. Дешёвка полуцветная, лечить я его буду! *(Уходит к себе.)*

К о л о д е й *(надзирательнице и Посошкову).* А теперь пошли ш м о н я́ т ь. Хорошо шмоняйте, не торопитесь. Ножи, напильники, водка, письма, фотографии, может, бумажка с записями, денег у кого больше ста рублей, карандаши химические... *(Кричит на вахту.)* За-пус-кай по десять человек!!

Все четверо идут вглубь. Ангел бежит к столбу и мерно звонит о рельс несколько раз. Два вахтера выходят с вахты и становятся обок линейки с поднятыми фонарями. В распахнувшиеся ворота входят строем две первых пятерки ЗЭКОВ.

К о л о д е й. Лапти, ботинки — развязать! Рас-пустить пояса!

Зэки исполняют команду. Начинается обыск. Ветер завывает. Ангел идет налево перед бараком. Слева входит ЛЮБА, кутаясь в платке. Она минует Ангела потупясь.

А н г е л *(окликает, уже пройдя).* Любка! Ты — из больнички? Родион — как?

Л ю б а. Жив...

А н г е л. Крепкая голова! *(Уходит.)*

На заднем плане продолжается обыск. Мигают фонари в руках вахтеров, крутит позёмка. ЛЮБА еще стоит неподвижно, потом понуро всходит на крылечко Мерецуна, стучит. Дверь впускает ее. На окне силуэтно видно, как, войдя, она снимает платок.

Разрисованный занавес

В зрительном зале темно. Светят фонари «зоны» на барьере оркестра. Замерли часовые на вышках. Из репродуктора слышится «Нам песня строить и жить помогает», исполняемая на гармошке. Верхний свет так и не зажигается. Обычный занавес не задвигается.

КОНЕЦ СПЕКТАКЛЯ

ИГРОК

Прекрасен Божий мир в закатный час.
Багряные горят везде костры.
Лечу из Винстон-Сейлема в Ла Пас, —
таков закон неведомой игры.

Партнер мой Рок со мной играл не раз.
Я не сказал ему ни разу: — Пас!
Ходы я делаю всегда в урочный час.
Играть хотите? Приглашаю вас.

Со мной играл не раз партнер мой Рок.
Есть у меня в уме один заскок:
Защиту не люблю я, а захват —
шах королям, а всем тиранам — мат.

Играю я всегда наверняка,
азартнее меня — нет игрока
в крупнейших играх, и без дурака, —
я с дураками не играл пока,
над дураком победа так легка,
а нужен мне азарт, напор, накал, —
от страха чтоб противник не дышал.

Не испугаюсь ставки я любой,
и даже Смерть я вызывал на бой,
противникам я говорю: — Держись!
На карту ставлю я бесценнейшую Жизнь!

Ее нельзя убить, нельзя купить,
а только в бронзу вечную отлить.
Не стихнут никогда мои стихи,
я никогда не буду стар и хил,
певцы расскажут миру, как я ждал,
чтоб на меня напал девятый вал,
чтобы пожар постель мне согревал...

Девятый вал, однако, отступал,
и ни один мой конь в бою не пал,
не ступит враг на мой земной порог —
его хранит Заступник Вечный — Бог,

И коль уж так мне в жизни повезло, —
зову на бой все мировое зло!

Ноябрь 1966
США

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Моим словам не верьте, нет, не верьте,
я никаким словам не верю, словно снам,
всю жизнь пишу я «Жизнь» на конверте
и отношу на почту письма сам.

Но почтальоны путают мой адрес,
приносят письма с траурной каймой,
заклеймены они печатью адской,
и почерк в них совсем иной — не мой.

И вот уста мои от горести немеют,
молчат могилы истребленных слов,
сказать возлюбленной я больше не посмею,
что я к любви и подвигам готов,

что я готов наполнить все бокалы
пьянящей влагою ее любовных чар, —
все волны разбиваются о скалы,
бокалы чар мне отравил анчар.

За счастье не могу поднять бокала
с вином, отравленным предчувствием беды,
пожар пылает в пиршественных залах,
и счастье разлетается как дым.

Никто не знает, что такое счастье —
ни я, ни ты, ни он, ни мы, ни вы,
— оно разорвано судьбой давно на части.

И вот мне кажется все чаще,
что на заре голодный волк от счастья выл,
его я выследил в замшелой чаще —
охотничье мне привалило счастье...

Но что мне волк? Дешевенькая шкура,
освежевать его — и то мне лень;
поглядывает на меня понуро
нахохлившийся недовольный день.

Какие он готовит мне напасти, —
их знает дьявол, их предчувствует душа,
— в чистилище ее сжигают страсти,
и знаю, что неверен каждый шаг.

И что с того, что жизнь хороша?
Но ведь моя не стоит ни гроша.
Да, я мечтал и кое-что свершал,
и посещал меня Сарданапал,
в мой дом пустынный попадал напалм,
и злобный дух вновь на меня напал.

И сердце рвет мне коршун пополам!
В какой же части счастье — тут иль там?
Все счастья ждут, и с ним как с торбой носятся, —
но не найдешь его ты в сумке письмоносца,
счастливые мужья все — рогоносцы,
на эшафотах гибнут венценосцы,
вчера — делец счастливый стал банкротом,
объявлен гений — полуидиотом,
и Нелюбовью веет ветер мира,
Несчастье стало царскою порфирой,
и всё, что в Жизни есть, уходит к Смерти...
Моим словам не верьте, нет, не верьте!

Декабрь 1966
Швейцария

Булат Окуджава

Фотограф Жора

(Маленький роман)

ГРАЖДАНИН ПУЗЫРЬКОВ И ДРУГИЕ

Жоре места на киностудии не нашлось. Обещали с осени. Кинооператоров было много. А он и не унывал.

— Если бы семья, дети там... А одному — много ли надо?

И он устроился в фотоателье: все-таки зарплата, и место, и разные люди...

Уже в первый день Павел Петрович Пузырьков предупредил его:

— Смотри, только не чуди... не надо. Вы человек молодой, горячий, знаем вас... Хотите — работайте, не хочешь — иди, куда хочешь... У нас надо гореть... Гори. Приступай.

Жора улыбнулся. Посмотрел на Пузырькова синими своими глазами. Смолчал.

— Симпатично улыбаетесь, — сказал Пузырьков. — Женщины косяком пойдут.

Но женщины косяком не шли. Место было не бойкое.

Однажды в ателье ввалилось большое семейство, чтобы сфотографироваться.

Пузырьков сказал Жоре:

— Смотри, учитесь...

Он развернул перед семейством пухлый альбом с образцами. Это были семейные фото. У всех были одинаковые глаза, одинаковые застывшие лица, словно они выслушивают приговор.

— Ну, — сказал Пузырьков, — как сниматься будем?

— Вот так, — сказал отец семейства и ткнул в первый снимок.

— Вы думаешь? — презрительно улыбнулся Пузырьков.

Произведение «Фотограф Жора» Булата Окуджавы распространяется Самиздатом. Публикуется впервые. Р е д.

— Может, вот так? — спросила мать.

— Вы думаешь? — спросил Пузырьков.

Он быстро перелистал альбом.

— Пять лет, — сказал он, — я собирал главное... Это понятно? Позы, положения, выражение, жестикуляция... Здоровая семья, кинокартина, вечность...

И он сказал отцу семейства:

— Возьми подругу под руку. Возьмите покрепче... Вот так. Вы идете по дороге жизни... Впереди — малыши: ваша радость, сбоку — взрослые: ваша опора... Я научу вас...

Он забежал вперед, вытянул желтую ладонь.

— Смотрите все сюда.

Все посмотрели на ладонь.

— Это будет художественно, — сказал Пузырьков. — А не хотите так — можно и обычным способом.

И лицо его стало скучным.

— Давайте уж художественно, — сказал отец семейства, — не каждый ведь день...

Кассирша Люся сидела за конторкой и зевала. Длинный нос ее морщился. Она похлопывала ладонью по губам, чтобы прикрыть зевоту.

— Люся, — сказал Пузырьков, — оформите товарища. И учти, что консультация... Вы поняла?

Люся зевнула и похлопала ладонью по губам.

Жора с интересом наблюдал эту комедию.

Отец семейства заплатил за снимок. Потом он заплатил за консультацию. Деньги за консультацию Люся положила в сумочку.

— Поняли? — сказал Пузырьков Жоре. — Картина... искусство.

Жора засмеялся.

— Иди-ка сюда, — поманил Пузырьков Жору за перегородку. За перегородкой на его широком лице обозначилась гримаса, назначения которой Жора не угадал.

— Ну что вы уставился? — спросил Пузырьков. — Я же смеюсь. Это нервное у меня, видишь? Это даже не смех... я пла́чу. И ты будешь плакать — вот увидите... Как они стояли, заметил?.. Монументы!..

Жора смеялся. Люся тоже смеялась, глядя на него. Потом она сказала:

— Все женщины, наверное, от вас без ума.

— От меня? — стремительно повернулся к ней Пузырьков.

— От него, — кивнула Люся на Жору.

— Вы занимайтесь своим делом, — сказал Пузырьков обиженно, — поняла?

Люся похлопала ладонью по губам.

— Я вам хлеб даю, — сказал Пузырьков, — монументы...

— А вы по вечерам в кино ходите? — спросила Люся.

— Хожу, — сказал Жора.

— Какие у вас глаза синие.

Но Жора смотрел сквозь стекло витрины. И Пузырьков смотрел туда же. Там, перед витриной фотоателье стояла молодая женщина. Она была прекрасна — вот что увидел Жора в первое мгновенье. Потом он разглядел, что она — в брюках из какой-то тонкой блестящей материи, в светло-серых брюках. Потом он увидел ее черную, мужского покроя сорочку с распахнутым воротом и, наконец, — немного усталое лицо, обрамленное дымкой выгоревших на солнце русых волос. Сорочка была навыпуск. Из-под закатанных рукавов тянулись руки, слегка покрытые загаром, длинные, тонкие.

— Красотка, — сказала Люся.

— Длинноногa-то, а? — сказал Пузырьков. — Как борзая...

— Теперь в Москве это не редкость, — сказала Люся, — у меня у самой брюки есть синие... шевиот.

— Зайдет? — спросил Пузырьков и лизнул пересохшие губы.

Женщина перебросила белую сумку из руки в руку и толкнула дверь ателье.

Она вошла. И тут в полутьме и полупрохладе вспыхнули и заблестели капельки пота на ее высоком лбу.

— У нас прохладно, — сказал Пузырьков.

Она почти бросила свою белую тяжелую сумку на пол.

— Я посижу немного... Просто сил нет, какая жара!..

— Посидите, — сказала Люся и похлопала ладонью по губам.

— Будем сниматься? — спросил Пузырьков.

— Будем, — сказала она. — Только немного погодя. Отдышусь немного.

Пузырьков завел Жору за перегородку.

— Учись. Запоминайте всё, — сказал шепотом. — Сейчас будет пляж... Видите полотно? Это море. Похоже?.. Сейчас будет монумент на пляже... Зачем ехать к морю?.. А?.. Легкая консультация — шикарный банкет на узкий круг. Живем только раз... Вы понял? Иди туда. Сейчас всё произойдет.

Жора вышел из-за перегородки. Она посмотрела на него. Это был холодный взгляд, и Жоре стало не по себе.

— Я готова, — сказала она и встала.

— Пляж? — улыбнулся Пузырьков.

— Какой пляж? — спросила она.

— Пляж, море, зной, — сказал Пузырьков и ткнул пальцем в раскрашенное полотно.

— А если пляж?.. — спросила она. — Если пляж, мне надо раздеться?..

Пузырьков швырнул к ее ногам желтый коврик.

— Песок... — сказал он. — Золотой песок... Евпатория...

— Нет, — засмеялась она. — Это не для меня.

— Что же? — спросил Пузырьков печально.

— Паспорт...

Пузырьков быстро и мрачно сфотографировал ее.

— Удачно? — спросила она.

— Фирма гарантирует, — пробубнил он.

На следующий день Люся сказала Жоре:

— Приходила та, длинноногая, в которую вы влюбились...

— Что?!

— Конечно, я же видела, как вы на нее смотрели... А на фото она самая обыкновенная.

Шли дни. И перед Жорой неторопливо проплывала случайная и пестрая клиентура ателье. Ему даже казалось, что это он идет по длинному полутемному прохладному залу, где по стенам выстроились все эти люди: одиночки и семейные. Они выстроились в позах, и в тех, которые продиктовал им Пузырьков, и в тех, которые они придумали себе сами...

Как хочется запечатлеть себя таким, каким ты смог бы быть, если бы не... Или таким, каким тебя желают видеть. Но всё это лучше, лучше, чем ты есть на самом деле. И уж тут всё зависит от вкуса, и от твоей скромности, и от твоего тщеславия, и от твоего эгоизма... Не так ли? Ведь ты приводишь же себя в порядок прежде, чем щелкнет затвор? И тебе ведь не безразлично, как посмотреть в объектив, или на ладонь фотографа, или в окно, чтобы свет падал на левую сторону твоего лица?.. Зачем тебе фотографировать, скажем, колено? Ты хочешь — глаза. Ты хочешь что-то там сказать, выразить, донести... До кого?.. Вот, в самом деле, как это странно. Ты что, позируешь перед будущим? Ты хочешь обмануть его? Или ты обманываешь женщину, которая задумалась: полюбить — не полюбить?.. Или себя самого? Обманываешь?.. Успокаиваешь?..

— Фамилия ее Трубникова, — сказала Люся. — Зовут Татьяной.

...Ты так выразительно смотришь, ты так задумчив, грустен даже. Ты много пережил, да? Ты это хочешь сказать?.. И ты стараешься из последних сил. И когда говорят, что снимок удачен — это что? Это ты выразил лучшее или сфальшивил?..

— Отчество ее Викентьевна, — сказала Люся. — У нее кольцо обручальное, тоненькое такое.

...А руки не врут. И они тоже выразительные. И они не тщеславны: что им? И лишь кулак иногда кладут на колено, но ведь это очень мужское. Женщина кулак на колено не положит. А вот мужчина — да. Но это и не страшно. Если он, к примеру, шахтер, так отчего бы и нет? Отчего бы и не положить? Пусть показывает свой кулак...

Через три дня явилась она, эта Трубникова, и вручила Жоре две старых измятых фотографии, и попросила:

— Увеличить хотелось бы... А у меня нет знакомых специалистов... А уж с вами, поскольку я знакома... — и улыбнулась полными губами, и уютно провела ладонью по своему плечу.

И Жора смотрел на ее руки, на длинные пальцы, которые хоть и были слегка согнуты, но выглядели надменно.

— Хорошо, — сказал он, — давайте я посмотрю, что там у вас такое...

На одной Жора увидел девочку лет семи. Она стояла у обгоревшей печки деревенского дома. Самого дома не было. У девочки смешно и трогательно торчали в разные стороны русые прядки. Маленькое злое старушечье лицо...

— Это на Смоленщине, — сказала Татьяна Трубникова. — Это я. Это в детдоме. Уехать не смогли... Это немцы фотографировали... Я хочу, чтобы очень крупно и чуть-чуть смазанно, как в тумане, как воспоминание... Я очень люблю эту девочку, — губы ее шевельнулись в улыбке, — видите, как она смотрит?.. А это — мой отец... Я его не помню... А это он еще на этой... на Гражданской... Видите, какая смешная шапка на нем?..

Викентий Трубников в расстегнутом полушубке, молодой и улыбающийся, стоял у пулеметной тачанки, прислонясь к ней плечом, нога за ногу, буденовка набекрень. Он смотрел на Жору пристально, в упор. И улыбался. Улыбался, как человек, который улыбается не для объектива. Это не было похоже на то, как приоткрывают рот, обнажают зубы, просятся в объектив. Викентий Трубников улыбался чему-то своему так, словно его и не фотографируют, а просто перед ним вдруг из тумана, из пепла воз-

никла та самая волшебная роща, к которой он ехал на вот этой самой тачанке. В общем, он был сам по себе, а аппарат — сам. И никакой связи. И он, конечно, еще не мог знать, что там случится в его прекрасном далеке.

— Вот если бы в натуральную величину! — пожелала Татьяна.

— Это что, шрам?

— Не знаю, — сказала Таня. — Других фотографий не осталось. Не знаю. Когда произошло... это... все фотографии у нас взяли...

Запястье у Трубникова было по-девичьи тонкое — не для пыток.

— Мама рассказывала, что он был очень мужественный...

Ее руки походили на руки отца. То же тонкое запястье и длинные неспокойные пальцы.

— А вы всегда так и фотограф? — спросила она, уходя.

— Всегда, — сказал он с удивлением.

В парадном его дома пахло луком и картофельной пылью. В комнате стоял полумрак. Жора распахнул окно, присел на край кровати, и тотчас перед ним возникла она. Она сидела напротив и молчала, и разглядывала Жору. Одна ее рука была откинута на спинку кресла, другая покоилась на колене. Глаза были внимательны и спокойны. Полные губы слегка шевелились.

За стеной, в комнате токаря Сытова, раздался стук. И она исчезла.

— Ты чего шумишь? — спросил Жора.

— Я брюки глажу, — сказал Андрей Сытов. — Наши все уехали на травку...

Жора лежал на спине и смотрел на противоположную стену. Она вся была покрыта крупными фотографиями, сделанными им. И всё это были руки. Вот руки Андрея Сытова, играющего на гитаре. Гитары не видно. Жора сделал так, чтобы ее не было видно. Руки начинаются откуда-то из темной пустоты. Вот левая скользит по невидимому грифу. Она напряжена, и только пальцы, изогнутые и не похожие один на другой, делают свое дело, как люди... словно прикладываются щеками к прохладной земле. А правая — спокойнее, расслабленней, чуть-чуть с истомой прикасается к невидимым струнам.

Когда однажды Андрей Сытов увидел свои руки, он долго и с удивлением их рассматривал.

— Ну ладно, — сказал он, — меня не изобразил, ладно...

Лицо у меня, наверное, не то... А вот инструмент, это ты напрасно... Эта гитара — краснощековская...

А справа висела фотография самого начальника Жориного, Павла Петровича Пузырькова, то есть это были руки Павла Петровича, а сам он терялся где-то в пространстве.

Когда Жора усаживал его фотографировать, Пузырьков предупредил:

— Только не чудить. Снимай в классической манере.

Жора попросил его вытянуть руки так, словно Пузырьков тянется обеими ладонями пожать руки дорогого друга: одна ладонь снизу, а другая вот-вот прихлопнет ее.

— Опять чудишь, Жора, — сказал Павел Петрович и сложил руки в замочек.

— Фу, — сказал Жора, — как купец.

— Ты купцов не видел, — сказал Пузырьков.

— Ну я прошу вас, — улыбнулся Жора.

— Когда мы форсировали Одер... — сказал Пузырьков, но замолчал перед блеснувшим объективом.

И тогда получилось так, как хотел Жора. И теперь эти руки тянулись к нему из пустоты стены. Но они тянулись не для дружеского пожатия, как предполагалось первоначально, ибо Павел Петрович совмещал приверженность к классическим формам с любовью хорошо пожить...

— Когда мы форсировали Одер, — говорил Пузырьков.

— Вы?.. — смеялся Жора.

И Павел Петрович умолкал, почесывая затылок.

Жора заснул. Он погрузил в подушку худощавое лицо, а жесткий и черный его затылок выделялся на белой подушке пятном.

И сразу же он увидел руки. Сначала руки портного: цепкие, с подагрическими суставами. Пальцы их были искривлены и исколоты, и Жоре показалось, что они держат ножницы или иглу: что-то сверкнуло.

Потом он увидел непомерно широкие ладони, но это не были ладони землекопа. Они были тонки как лист. И тонкие злые пальцы торчали растопыренно, зловеще изогнувшись, требуя, выманивая...

Потом возникли руки солдата: грубая и шершавая кожа, пальцы темны от махры. Они, по-видимому, сжимали винтовку, но винтовки не было видно — одно только напряжение.

Затем закачались, поплыли руки танцовщицы, и слышалась музыка.

Затем — крепкие узловатые руки пилота. Они покоились на штурвале. Штурвала не было, но он угадывался. Руки лежали в пустоте, неподвижные, и сосредоточенные, и умные, и смуглая жилка пересекала каждую, как трасса полета, и смутная наколка юношеской поры стыдливо виднелась у большого пальца.

И вдруг две белых женских ладони закачались перед глазами Жоры. Они были нежны и неискушенны, и розовая линия судьбы пересекала их и терялась где-то вдали, как след колеса в пустыне. Ладони кончались узким и слабым запястьем, и дешевенький браслетик охватывал левое из них.

— Как тебе не стыдно! — сказал Жора самому себе. — Ведь тебя обманывают... Разве не бывало так, что, когда ты наводишь объектив, человек становится больным и слабым и уже не может владеть собой? Разве не бывало, что ему вдруг хотелось вскинуть голову и посмотреть на тебя свысока: вот так и запечатлейте?.. Опомнись...

Жора проснулся и сел в кровати. Была ночь.

— А может, все-таки уйти из ателье? — сказал он. — Что это я?

— Перестань чудить, — сказал со стены Пузырьков. — Фирма гарантирует вам успех... Вы понял?

И Жора проснулся. Было утро. И снова — ателье.

— Какой вы странный, — сказала Люся, — чего вас сюда занесло?

— Здесь люди интересные, — засмеялся Жора, — вот вы, например, и всякие другие...

— Диплом пропадает, — сказала Люся.

— Не пропадет, — сказал Жора.

А Пузырьков сказал:

— Не обращайте внимания... Я тебя поднатаскаю... Такие денежки получать будете, ого!.. Вы понял, что не в должности счастье?.. Там всякие нос суют в ваши дела, а здесь — тихо... Я тебя поднатаскаю...

Потом он обернулся к Люсе и сказал:

— Не надо чудить, Люся... Вы же купили себе цигейку... За тобой же косяком пошел мужчина...

— Всё это прелестно, — сказал Жора, — но ведь надо же выдумывать что-нибудь... Ведь мертвое всё... Скучно ведь...

— Аа! — крикнул Пузырьков, — придумывать?.. Нет, нет, нет. Классика нужна, совершенство! Вам нужны переживания, а мне — монументы... Я изобретать не хочу... не смею... Вы понял?.. У меня — опыт.

— Вот все и получаются друг на друга похожими, — сказал Жора.

Люся тоненько засмеялась и зевнула.

— А это что? — крикнул Пузырьков и швырнул на стол фотографии веером. — Один сидит, один лежит, другие обнялись... Похоже?.. Один — на коне, другой — на пляже, третий — в шляпе... Похоже?.. А вот одень-ка шляпу тому, который на коне, знаете, что получится?.. Ни хрена не получится... Во всем тонкий расчет... опыт!

— А помните, комиссия сказала, что у всех глаза навыкат? И постно всё... — сказала Люся.

— Это была компания чудаков, — сказал Пузырьков. — Они хотят меня вытурить, а своего поставить... Не выйдет! — крикнул он тоненько, — у меня есть за что зацепиться... А глаза не я клиентам выкачиваю... Это они сами... Традиция...

— Так их учить надо, — сказал Жора.

Но Пузырьков ушел, прихрамывая.

— Вы его не злите, — сказала Люся. — Он хороший человек. Только он снимать не умеет. Вкуса у него нет... Он боится, что его выгонят... А что ему тогда?..

— Нечего теории всякие выдумывать...

— А защищаться-то надо ведь, — сказала Люся. — Какой вы строгий... Никогда в кино меня не пригласите... А я сумочку красную купила... А вы всё про длинноногую думаете?..

...А в это время Александр Потехин, муж Тани Трубниковой, архитектор, вошел в свою квартиру. Еще проходя по двору, он взглянул на окна кухни, и чье-то лицо мелькнуло там и скрылось.

«Увидели, подумал он, сейчас предупредят».

Три года они живут вместе, и почти всё это время его встречает настороженная тишина.

Ах, ну не всё ли равно... Что он — мальчик?.. Но он и тогда знал, что ничего не получится. Он уже тогда всё предвидел. Но есть ведь что-то и поважнее!.. Ей тоже надоело скитаться по свету, и за эту комнату, и за него, и за постоянство она глотку кому угодно перегрызет... А ему эти штучки... тонкости эти не нужны... Он не мальчик...

— Ты пришел? — спросила Таня. Она одевалась перед зеркалом.

— А ты уходишь? — спросил он, не удивляясь.

Она резко повернулась к нему.

— Должна же я выйти в магазин!

— Разве я возражаю? — сказал он тихо.

Она ушла.

— Ничего не понимаю, — сказал Потехин Вере, хрупкой некрасивой соседке, глаза которой были всегда влажны, словно переполнены слезами.

Но Вера пожала плечами, потому что не хотела числиться в свидетелях... И все-таки не удержалась и сказала:

— А может быть, вам лучше уйти?.. Вы же не любите друг друга.

И хотя Потехин слышал это от Веры не впервые, он нахмурился.

— ...портите жизнь... — говорила Вера откуда-то издалека, — обманываете... смотреть противно... Если бы вы ушли, она бы стала сильнее...

— Может, ты за меня пойдешь?! — крикнул он.

— Я — нет... — усмехнулась Вера. — Я стряпать не умею.

ТАТЬЯНА ТРУБНИКОВА И ДРУГИЕ

— ...И вдруг, — продолжала Таня, — после всего, что было, после страха, после нищеты... Это же почти нищета была... После всяких там неурядиц мне говорят: «А ты красивая...» Я смотрю в зеркало. Неужели? Да, да, конечно. «Тебе надо бы приодеться». Это я как-нибудь осилю, а потом?.. «Потом тебе ничего не страшно». А все-таки? «Потом все упадут к твоим ногам». Ну и что же? И что же?.. «Ты выберешь одного». А дальше?.. «Что же еще? Это — главное. Подрастешь — поймешь». А я хочу быть специалистом, врачом, например. «Аа, врачом... ха-ха... носить белый халат и ставить клизмы?..» Что же мне делать?.. «Любить». Я тогда уже всё понимала. Я тогда посмеялась ему в лицо... Это неважно, кто он... Он тогда еще ладонью по лицу провел, словно в него плюнули. Но меня заметили. Знаете, как приятно, когда тебя замечают?..

— Да, — сказал Жора, — приятно.

— ...И я попала в дом. Ничего не помню. Помню только широкий диван, и бордовый свет откуда-то из угла, и тихая музыка. И на диване — в обнимку две пары в полумраке. И я сижу в другом конце, в кресле. И рядом он. И я дрожу от страха и любопытства, и еще от чего-то такого, что объяснить невозможно. И мне, в общем, хорошо: меня заметили, рядом со мной — хозяин

дома — такой красивый парень в заграничном свитере...

— Что они там делают? — спрашиваю я шепотом.

— Они любят друг друга, — говорит он, — а ть. что будешь пить: ром или коньяк?

Если бы он просто спросил: буду ли я пить, я бы отказалась, а тут — напрямик: что будешь пить — это или это?.. Мы пьем коньяк, потом ром, потом еще что-то... Ну, в общем, вы знаете, как это бывает... Потом он предлагает пойти в другую комнату, он хочет подарить мне «одну забавную вещицу». Он идет передо мной, идет уверенно, даже не оборачивается, даже не поинтересуется: я иду или нет. А я, конечно, иду. Спотыкаюсь, но иду. А он впереди в своем заграничном свитере. А я думаю: «вот сейчас поцелует, вот сейчас...» И я очень хочу, чтобы он меня поцеловал. И не нужно мне никаких «забавных вещиц»... Утром я проснулась у него в комнате. Было солнце. Он стоял надо мной и смотрел внимательно. Он был очень красив, очень. Но глаза были равнодушны. Они были любопытны, но равнодушны. И тут я вспомнила всё. И мне не стало страшно.

— Послушай, сколько тебе лет? — спросил он.

— Семнадцать, — сказала я, — только не смотрите на меня, пожалуйста.

Он засмеялся.

— Теперь ты можешь называть меня на «ты». Вполне.

— Отвернитесь, я оденусь.

Он снова засмеялся.

— После всего, что было, это — дикость.

— Отвернись! — крикнула я. Он даже вздрогнул, так я крикнула. И сразу отвернулся. И сказал, не оборачиваясь:

— Поторопись. Скоро родители должны приехать.

И тут мне стало смешно. Всё. Я оделась и сказала ему:

— А если я не уйду? — и засмеялась.

— Уйдешь, — сказал он, но побледнел.

— Я не уйду, дождусь родителей и всё им расскажу, а?

Как он испугался тогда. Ой-ой-ой... И разозлился...

— А если я тебя выкину?

— Вы думаете, это вам поможет? — засмеялась я.

— Изобью...

— Я терпеливая...

Тогда он стал просить меня. Знаете, он так унижался, что было противно.

— Ладно, — сказала я, — пальто.

И он помчался как угорелый и принес мое пальтишко, и стал подавать мне его.

— Дверь, — сказала я.

И он распахнул передо мной двери. И я пошла по коридору.

— Дверь...

Он всё делал очень быстро. Наверное, вот-вот родители должны были прийти. А я — медленно-медленно. И от этого он трусил сильней и сильней.

— А если я забеременею, мне к вам прийти или к вашей маме?

Ну, посмотрели бы вы на него! И я ушла. И мне было не себя жаль, а его. Очень красивый был парень.

— Что будете пить, — спросил Жора, — коньяк или ром?

— Ничего, — торопливо проговорила она. Улыбка пропала с лица. Жора засмеялся.

— Вы это серьезно? — спросила она.

— У меня, к сожалению, ничего дома нет. А я бы выпил с вами.

Она сидела перед ним, безвольно опустив руки. И пока рассказывала небрежным тоном, словно с неохотой, всё время смотрела ему в лицо.

«Пора кончать с ателье», почему-то подумал Жора.

— Вам интересно было? — спросила она, — вам не противно, что я разболталась?..

Потом они молчали.

— Дома у меня тарарам, — неожиданно сказала она, — ничего не хочется делать. Скорей бы уж новая квартира!.. Как на вокзале живу...

И она усмехнулась.

...Уже тогда, в то воскресенье, до двух часов ночи Жора провозился с фотографией Викентия Трубникова, и громадную ее, увеличенную до натуральных размеров, наклеил на плотный картон и поставил к стене до утра. А утром даже вздрогнул, когда проснулся, потому что живой и улыбающийся Викентий Трубников смотрел почти прямо на Жору. И сильное утреннее солнце било комиссару в глаза, так что комиссар даже немного сощурился.

— Ладно, без мистики, — сказал Жора.

Но улыбка у комиссара была несколько иной, чем вчера на маленькой фотографии. И белая полоска на щеке стала почему-то темной и уже походила на шрам. И было заметно, что этот шрам

чуть стягивает кожу на щеке. И, может быть, поэтому в улыбке комиссара появилось что-то ироническое. Однако лицо было по-прежнему открытым. И неизвестно почему, но Жора угадывал за спиной комиссара степь, жару, звон. По вечерам лицо Трубникова становилось сосредоточенней, суровей, по утрам оттаивало. А руки?.. Одной он распахивал полушубок, другою держался за металлическую дужку, приделанную к тачанке. Прямо из классической гимназии — в комиссары, это ж надо такому случиться! И он не позировал у своей тачанки, а просто сошел, ступил на сухую траву степи и сказал юношеским баском:

— Жарища!.. Семенов, где там моя кожанка?.. Прямо лето: такая жара. И звон стоит. Это птицы звенят или степь сама, а Семенов?..

Пока колесили по приволжским хуторам, от боя до боя, от короткого привала до долгой дороги, пока слушали грохот не очень совершенных колес, пока кричали хриплыми голосами друг другу то приказ, то просьбу, то последнее «прощай», разве можно было себе представить, как звенит степь, когда она в самом начале весеннего дня?..

— Это чудо, как вы это сделали, — сказала Таня. — Просто поразительно. Я никогда не думала, что такой у меня отец... Там, этой вот весной, он встретил на одном из хуторов девчонку. Ей было семнадцать лет. Он вот так сошел однажды с тачанки и сказал:

— Жарища!.. Семенов, где там моя кожанка?.. Прямо лето: такая жара. И звон стоит. Это птицы звенят или степь сама, а Семенов?

А за калиткой стояла та самая девчонка и смотрела на него большими черными глазами, как на бога... А он сказал:

— Семенов, нас сюда, кажется, приглашают.

А она ничего не сказала, покраснела, улыбнулась ему и пошла к дому... Как в песне, правда?.. А он — за ней. И — в дом. И как будто давно знакомы. Даже слова не сказали друг другу. И он скинул с себя кожанку и остался в выцветшем гимназическом мундире, скинул буденовку — и спутанные, потные его волосы смешно затопорщились на голове. И он пригладил их ладонью и сказал:

— Здравствуйте, меня зовут Викентием, Викентий Трубников. А вас?

И прищелкнул каблуками, как на гимназическом балу.

А ей это не было знакомо: мундир, щелк каблуков, учтивость, но смешным не показалось. Просто стоял перед ней белокурый

бог, смотрел на нее добрыми городскими глазами и ждал, что же она ответит. А ей было семнадцать лет. Она была красива, хотя этого не понимала... Там, на маленьком хуторе, не было ценителей ее красоты... Была она сирота и жила у родственника своего.

— Как же вас зовут? — спросил Трубников.

— Катерина, — тихо сказала она. И снова покраснела. И отвернулась, потому что в горницу вошел Семенов.

Потом пришел ее родственник. Он приехал из города: менял муку на тряпки. Он был очень недружелюбен с белокурым мальчишкой, а мальчишка посмеивался и всё поглядывал на Катерину.

— Что ж это вы с нами так грубо говорите? Мы же в гостях у вас... — сказал Трубников родственнику.

— А вот так, — сказал родственник, не глядя на комиссара.

А потом он пронюхал, что мальчишка этот — комиссар полка, и сразу переменился, и извлек бутылочку с желтым самогоном, и улыбнулся.

— Надо бы выпить, а?.. Под огурчики хорошо...

— Не пью, спасибо, — сказал мальчишка.

— Что ж так? — грустно спросил родственник.

— А вот так, — сказал комиссар.

Потом родственник высосал потихоньку самогон сам и спросил Семенова, который зашивал дыру на гимнастерке:

— Что ж это комиссар ваш меня не уважает?

— Не за что... — усмехнулся Семенов.

— Я ведь — народ.

— Оно и видно, — сказал Семенов, — народ, как выйдешь из ворот...

— Все вы дырявые, — сказал родственник.

— Это мы зашьем, — сказал Семенов.

А Катерина сидела на крылечке и смотрела на степь, которая начала синеть к сумеркам. А Трубников стоял рядом и краем глаза поглядывал на ее загорелую шею. И он сказал, продолжая разговор:

— ...У нас в полку нет сестры милосердия... Мы бы вам сапоги выдали, хромовые достали бы... невесомые. Пойдете?

— Нет, — сказала она тихо, — мне нельзя.

Трубников вздохнул. А сумерки сгущались. Запахло рекой. Звон прекратился.

— ...Ездили бы на своей тачанке... Помогали бы героям. Раненных перевязывать некому...

— Я крови боюсь.

— А по вечерам, когда привал, у нас песни поют. Вы даже не

представляете, как это хорошо!.. А захотите — можете коня получить в собственное пользование, верхом ездить... Пойдете?

— Нет, — сказала она, — я коней боюсь. Сроду верхом не ездила...

А ранним утром полк уходил своим путем. Викентий Трубников сидел уже в тачанке и с ее высоты глядел на дом, всё ждал чего-то. Потом и Семенов устроился, а никого не было. Потом «Марш-марш!», и полк запылил по степной дороге.

— Красивая девица была, — сказал Семенов, когда спускались к реке, — ее бы приодеть, да зонтик бы ей в руки...

И вдруг на повороте, у покосившегося кола, неизвестно для чего торчащего в степи, Трубников увидел Катерину. Она стояла, прислонившись к колу спиной, руки сложены на груди, босая.

Тачанка поравнялась с нею.

— Это вы? — обрадованно спросил Трубников и спрыгнул на землю.

Она только кивнула и ступила поближе.

— А я думал, больше не увижу... Как это хорошо, что вы пришли!

— Проститься пришла, — сказала Катерина.

Так они стояли друг против друга. И молчали. А Семенов глядел на небо. Полк пылил где-то далеко за рекой. Катерина нагнула голову и медленно побрела к хутору...

«Вот и еще одна жизнь, подумал Жора, и еще одна судьба. И всё переплелось, перемешалось. Вот оно какое, начало. Начало всему... И это можно описать, рассказать, спеть, выкрикнуть, но это нужно увидеть... И тогда как это прекрасно! Всё, всё: и звон, и степь, и это «вы» прямо посередине войны и разрухи, и теплота глаз и слов, когда ничего не пропадает, и это всё, что проходит по всем векам... Человек несет в своей котомке так много доброго, что это невозможно растоптать, а он несет, и даже не подозревает, и не думает об этом... И только дорога, пыль, звон...»

— Хорошо, что вы пришли, — сказал Жора. — Я думал о вас почему-то.

— Это он напомнил вам меня, — кивнула на фотографию Таня, — мы с ним похожи.

Желтые от химикалиев пальцы Жоры были сжаты в кулак. И этот большой кулак покоился на столе. Но было в нем что-то трогательное, теплое.

Таня смотрела куда-то мимо Жоры. Был вечер. Уходить всё же не хотелось. Там, в старом доме, ходит по комнате Александр Потехин, ее муж. Она почему-то всегда стеснялась этого слова.

...При чем же здесь я? — словно эхо откликнулся Александр Потехин, расхаживая по комнате и поглядывая в окно на вечерний переулок. — При чем же я?.. Пятнадцать лет разницы? Это ерунда. Сколько угодно тому примеров... Или я был против семьи? Или не я, наконец, вытянул ее, девчонку, из болота, в котором она увязала обеими тонкими своими ножками?.. Или это не я махнул рукой на прошлое ее родных?.. Я два года нянчил ее провинциальную мать, и я мотался по лучшим врачам, когда старуха валялась в бреду и выкрикивала блатные словечки, и я первый шел за ее гробом, потому что хоть она и выглядела при жизни очень несовременной, но ведь не простую жизнь прожила и заслужила венки и траурные марши... При чем же здесь я? — спросил он у Таниной фотографии. А Таня смотрела на него без улыбки, немного грустно, точно такая, какой он увидел ее впервые.

Он хорошо помнил этот странный вечер. Компания молодых, ну совсем молодых. Он так нелепо выглядел там и всё боялся сказать что-нибудь не в тон, и потому старался молчать. А они пили чрезмерно много, и его раздражала собственная трезвость, но пить он боялся, чтобы не сказать чего-нибудь смешного. И эта девушка с прекрасными грустными глазами, немного пьяная и не слишком словоохотливая... И какие-то ее обожатели (он успел позабыть их лица)... Они всё время старались уединиться с ней, сердились, просили и спорили друг с другом. А она немного лениво, но очень грациозно отмахивалась от них (и это ему запомнилось: ее жест и полные губы, которые чуть шевелились, когда она говорила слова). Может быть, потому, что он так не походил на остальных, она несколько раз со слабым любопытством взглянула на него. И вдруг он почувствовал, что ему хочется подсесть к ней. Но он не решился. Потом играла музыка, и все танцевали. И ее наперебой приглашали танцевать. И она не отказывала им, но когда танцевала, Потехин очень жалел ее партнеров — так равнодушно и безучастно двигалась она в такт музыке. После очередного танца она очутилась в этом конце комнаты и уселась рядом с ним. А он набрался смелости, наклонился к ней и сказал, глядя в ее русый затылок:

— Мы с вами оба трезвы, и потому нам здесь не место.

Она обернулась, молча оглядела его. И все обожатели уставились на нее и ждали, что она скажет. А он понял, что она пьяна, не очень, но все-таки.

— А давайте удерем, — сказала она и вызывающе улыбнулась.

Он даже не поверил. Но тут же решил: будь, что будет...

Они вышли. Он поймал первое попавшееся такси. Сел рядом с ней. Она молчала.

— Куда? — спросил он у нее.

— Не знаю, — сказала она, и закрыла глаза, и, вероятно, почувствовав, что он вздрогнул, добавила: — голова очень кружится...

Она спала на его единственной тахте в маленькой восьмиметровой холостяцкой комнате, а он всю ночь просидел на стуле, и костюма так и не снял, и всё курил, курил...

Всю неделю после этого он ходил словно пришибленный. Молчал, отвечал односложно, а на седьмой день не выдержал и позвонил ей. И ему показалось, что она обрадовалась его звонку. Он долго бормотал случайные слова и никак не мог произнести главного, но она выручила его.

— Если вы свободны, давайте увидимся...

И они встретились.

...Уходя, Таня еще раз оглядела Жорину коллекцию.

— Не могу понять, но вы делаете что-то очень интересное. Я бы хотела бывать у вас почаще... (не истолкует ли он это превратно?.. А впрочем, может быть, так оно и есть?.. А может быть, не стоит скрывать?.. Ведь всё так понятно...)

— Конечно, приходите, — сказал Жора, — отчего бы вам ко мне не приходить? — он помолчал, — конечно, приходите... — он словно испугался собственных слов, — ...а вам это ничем не... — он улыбнулся растерянно...

«Опять он улыбается, подумала она, я не смогу уйти... Я сама виновата... Навыдумывала...»

«Она волнуется, подумал он, волнуется. А может быть, это я волнуюсь. Вон как у нее пальцы дрожат, вон как сигарета дрожит...»

— Хотите, я провожу вас?

Быстрый протестующий жест. И какое-то подобие улыбки (как будто ничего не произошло).

— Я проводил бы вас до улицы...

Как он волнуется.

— А... Ну, ладно... Если до улицы.

— Фотография?

— Пусть останется... В следующий раз...

«Какую чушь я плету, подумала она, он же всё видит и смеется».

— Это хорошо, — сказал Жора, — значит, вы придете ко мне еще раз...

Она скрылась за углом внезапно. Еще стоял в вечернем воздухе тонкий запах ее духов, а самой ее уже не было. И какие-то незнакомые люди мелькали мимо.

— Теперь всё будет не так, — сказал Жора, — теперь всё будет иначе... — И он шел сквозь сумерки. Сумерки всегда сопровождали расставание. И он шел. И никому не было до него никакого дела. А для него, напротив, все были на виду. И все шли по течению и против, и даже не подозревали, что они у него на учете. И не только движение рук, взгляд, улыбка — всё, в чем они могли проявиться, запоминал Жора и лелеял надежду выбрать главное и запечатлеть... И пока ты торопишься, человечество, по своим делам, не понимая, кто ты, и пока ты идешь то с радостью, то грустно, и пока ты проносишь свои соломинки и веточки и складываешь их одну на другую, есть смысл говорить о тебе и запоминать твои поступки... Впрочем, человечество — это слишком громко. Нельзя ли потише? Тише, чем больше у тебя печалей. Тише, чем больше у тебя препятствий. Тише, чем меньше у тебя дешевых надежд. Тише, чем пренебрежительнее ты судишь о собственных заслугах...

...И когда Пузырьков осмотрел фотографии, висящие в комнате Жоры, он сказал:

— Вас засасывает формализм, вы понял? Формалистические выкрутасы... Вы меня здорово подвел, истратил государственные химикаты на штучки...

— Химикаты я тратил свои, — усмехнулся Жора.

— ...всё равно нам это не нужно.

— Кому?

— Нам.

— Кому?

— ...Вот и меня вы сфотографировал... Что это значит? А где лицо? Почему мои руки делают этот жест? Что вы этим хотел сказать?..

Потом он немного успокоился. Лицо его выглядело усталым и добрым. Он посеменил, прихрамывая, по комнате. Снова остановился перед фотографией, с которой тянулись к нему его собственные руки.

— А я, по-вашему, ремесленник? Вы слишком ученый, да? Мне пора на пенсию?

— Вам виднее, — сказал Жора. — Я так умею. Я ведь вам не навязываю...

— А почему улыбаетесь?! — крикнул Пузырьков. — Кичишься?.. Слишком высоко себя ставишь?.. Я таких видал...

Через несколько дней после этого Пузырьков привел к Жоре пожилого человека в пенсне. Жоры дома не было. Дверь им открыл Сытов.

— А, — сказал Сытов, — начальство. А хозяина нету.

— Ничего, — сказал Пузырьков, — ты нас проведи фотографии посмотреть, — и шепнул Сытову, кивнув на пожилого в пенсне: — Большой знаток в области искусства... Карьера...

Сытов не понял, чью карьеру имел в виду Павел Петрович, но провел гостей в комнату Жоры.

Большой знаток долго рассматривал фотографии.

— Целая выставка будет, — пояснил Сытов. — Это еще только часть... О том, через что люди проходят... Это вот мои руки. Они будто бы на гитаре играют... Только гитару не видно, красношековская. Жалко.

— Патология, — сказал большой знаток.

— Да, здорово. Ничего не скажешь, — сказал Сытов.

— Уймись, — сказал Пузырьков. — Нашел чего хвалить. Это штучки...

Но Сытов словно и не слышал.

— Скоро Жора знаменит будет, — сказал он, — это ж надо так показать сущность всему!..

— Уймись, — прошипел Пузырьков.

— ...а благодаря чего? — сказал Сытов, — благодаря того, что человек — не соломенный, и он через всё прошел... Вот вы можете наблюдать профиль. Глаз не видно? Нет. А шея? А пилотка? А краешек воротника? Он — с каемочкой от пота... Это солдат, конечно. А чего он думает? А он думает, как он в свой город вернется, или как он жену встретит, или какую сорочку оденет, когда в бане на гражданке попарится...

— Уймись, — сказал Пузырьков.

— Вы мне мешаете, — сказал большой знаток.

— Вот сколько различных мыслей рождаются в голове, — обиженно сказал Сытов, — или вот, например, эти женские руки...

«...Пора кончать с ателье, подумал Жора, когда Сытов рассказал ему о визите, — там делать больше нечего...»

— Этот твой начальник злился всё, — сказал Сытов, — смехота.

В комнате стоял какой-то незнакомый запах. Жоре было неприятно это. Что им вдруг понадобилось?..

— Теперь всё будет иначе, — сказал Жора, когда Таня скрылась за углом. — Как она волновалась... В таком состоянии можно выкинуть всё, что угодно, всё, что угодно, всё, что угодно. И я волновался... Стыдно, Жора... А что я могу? Я могу пригласить ее в Парк культуры... днем. И она будет оглядываться, озираться... Что я могу еще?.. Купить мороженое?.. А если я обниму ее?..

ВИКЕНТИЙ ТРУБНИКОВ И ДРУГИЕ

— Послушайте, Жорка, — сказала Птичкина, — это так интересно, что дух захватывает! Вы сами до этого додумались? Впрочем, есть небезызвестный американец... Но у вас свое, свое... — и она радостно засмеялась, и по ее круглому белому лицу прокатились разноцветные волны, во всяком случае, Жоре так показалось. — У вас свое... Как это грустно всё, что вы видите, но ведь и жизнь не слишком празднична... Но вам будет трудно, Жорка... Почему вас зовут Жоркой?

— Это вы меня зовете так... — сказал Жора. Он уже не улыбался.

— О, — протянула она удивленно, — тогда простите.

Она долго молча разглядывала его, словно только что увидела. Потом торопливо заговорила снова:

— У нас в музее можно было бы выставить всё это. Но я боюсь, что наши не пойдут на открытую выставку... Не согласятся...

— А я и не собираюсь выставлять это, — сказал Жора, борясь с раздражением. — Мне еще рано. Мне еще много лет нужно, чтобы это завершить. Я еще думаю поездить.

И вдруг он понял, что́ так раздражало его в этой круглолицей женщине. Было три часа. Таня обещала прийти в три. Птичкина уходить не собиралась.

— Как это прекрасно все-таки! — сказала она. — Мне хочется сказать вам...

— Только, ради Бога, не говорите громких слов, — перебил Жора. — Я очень этого не люблю, — добавил смущенно, — когда я закончу, я позову вас.

— Да, да, — заулыбалась Птичкина. — И все-таки... вы...

«Смотрит на меня как на бутерброд», подумал Жора.

— А может быть, и есть резон в том, чтобы не выставляться? — спросила она.

— Не знаю.

— Ну когда же вы меня позовете?.. Вы не забудете?

— Нет, конечно.

— Вы же знаете, как я к вам отношусь... Жора. Поверьте, что лучшего друга вам не найти... я сразу чувствую настоящее... Я как только увидела эти вот две руки, и это вот лицо, и этот профиль...

— Я обязательно позову вас...

— ...и эти стоптанные сапоги...

Жора долго и демонстративно смотрел на часы.

— Вы торопитесь? — вдруг спросила она. И лицо ее приняло скорбное выражение.

Белый круглый грустный блин закачался перед Жорой. Маленькие глаза исчезли, рот напоминал щелочку, нос — едва заметный бугорок, был только белый круглый блин, и он покачивался перед Жорой.

— Я обязательно позову вас, как только что-нибудь появится новое, — сказал Жора. И ему показалось, что на улице наступила полная тишина, и в этой тишине он отчетливо услышал постукивание Таниных каблучков.

«Стук, стук, стук...»

— Я пойду, — сказала Птичкина, — но вы обещайте, что позовете.

— Обязательно.

— Нет, нет, не так... ну какой же вы, право... Поклянитесь. Ну поклянитесь... Мне кажется, что я вам надоела... Надоела, да? Нет, вы скажите прямо...

«Стук, стук, стук...»

— Вы такой талантливый!

— Ради Бога, — сказал Жора, — только...

— Ну хорошо, не буду, не буду... Но ведь это не громкие слова. Это правда.

— Не надо.

— Я бы посидела у вас, но вижу, что уже вам надоела.

Жора промолчал. Было очень неловко.

— Надоела? Ну отчего вы молчите?..

«Стук, стук, стук...»

Белый круглый блин поплыл вдоль стены. Сначала медленно, затем быстрее и быстрее.

Уже выходя на лестницу, Птичкина сказала:

— Может, дать вам мой телефон?

— Он есть у меня.

— Я все-таки дам. Тот вы, наверное, потеряли, — и она принялась копошиться в сумочке.

«Стук, стук, стук...»

— Не надо, — сказал Жора. Получилось резко.

Она торопливо захлопнула сумочку. Помахала ему и стремительно кинулась прочь.

В комнате стало просторней. После торопливого захлебывания Птичкиной наступила неловкая тишина. Фотографии с укоризной уставились на Жору. Было половина четвертого. Стук каблучков прекратился. Снова выбивали тонкую дробь оконные стекла. Жора откинул марлю с фотографии Викентия Трубникова. Комиссар вздохнул полной грудью. Лицо его было усталым. Он вглядывался в дорогу, по которой, наверное, уходила Катерина. Все куда-то идут. Всех куда-то влечет. И в этом движении жизнь двоих — короткое свидание на заре, и только. Оно иногда тягостно и потому мгновенно, иногда неминуемо и потому чуть дольше. А кто измерил, сколько оно должно быть на самом деле? И если бы движение друг к другу происходило по прямой, по самому короткому из отрезков между двумя точками, каких бы страданий удалось избежать, как много башмаков не было бы изношено!

Но Катерина уходила. Может быть, ей не свойственно было безрассудство. Но стук каблучков прекратился. Может быть, по той же причине. Может быть, усталость поколений, а может быть, их жестокий опыт, а может быть, вечная жажда покоя, которого никто никогда не знал, может быть, это всё и вырабатывало благоразумие? А может быть, это было не что иное, как желание испить всю чашу до дна? Но расстояние увеличивалось... Впрочем, и прямая между двумя точками — это ведь всего лишь теория. И словно в подтверждение этого, незнакомый мужчина с седеющими висками почти без стука вошел в комнату и уселся на стул и, не представившись, закурил сигарету, и только тогда Жора вдруг увидел, что мужчина волнуется. Губы его шевелились, и какое-то важное слово не могло слететь с них. И тогда Жора улыбнулся ему благожелательно и подбадривающе, но мужчина с укоризной смотрел в синие Жорины глаза.

— Я к вам, — наконец выдавил он. — Я — Потехин.

Он снова заглянул в два синих улыбающихся озерка. Жора пожал плечами.

— Я муж Тани.

— А...

— Я пришел, чтобы всё прояснить... между нами...

— Я фотограф, — сказал Жора.

Потехин помахал в воздухе указательным пальцем.

— ...Но я фотографирую в ателье. Здесь мой дом.

— Она мечтала перебраться на новую квартиру, — сказал Потехин. — Всё было хорошо... Я уже и мебель заказал, какую она хотела...

«Притворяется», подумал Жора.

— Она приходила к вам?

«Дурак он, что ли?.. Но он красив... И у него право...» И Жора улыбнулся. Так. Про себя. «Ему, конечно, больно... Он так любовно носил семейные кирпичи...»

— Она была у вас?

«...или он думает, что я захватчик? О, он ошибается. Да, у нее прекрасное лицо и руки, и улыбка, и голос, и... и ее нужно носить на руках... она этого заслужила... Но как он мог подумать! Да пусть он убирается к черту... в свою новую квартиру, пусть берет с собой свою жену, она ему досталась с боем... Пусть всё кончится, ведь еще ничего не началось... чтобы мне вдруг такое?!»

— Мне это стоило дорого, — сказал Потехин.

— Что?

— Всё это создать.

— А...

— Я буду бороться, хотя это и не совсем по-мужски.

«Это как раз и по-мужски... Только зачем бороться? Разве я покушаюсь на ваше счастье? Пожалуйста, не устраивайте трагедии, это ни к чему... Мы только знакомы... Какая чушь!..»

— А если я ее люблю? — сказал Жора.

Потехин вскочил. Указательный палец его замотался перед Жориным носом.

— Что вы глупости порете!

И тут вдруг снова послышалось: «стук, стук, стук...» так, что оба вздрогнули и посмотрели на дверь.

— Там кто-то ходит, — сказал Потехин.

— Может быть, — сказал Жора.

— Но я не хочу, чтобы нас подслушивали.

— Кому это нужно.

— Это все, что вы могли сказать? — угрожающе спросил Потехин. — Вы ее любите... зазываете в холостяцкую квартиру...

Жора сделал шаг к нему.

— И?..

— Я не ссориться пришел, — устало сказал Потехин, — надо

же как-то договориться... до чего-то... У нее была тяжелая жизнь, у меня тоже... Нам надо поддерживать друг друга. Это очень страшно, когда что-то врывается со стороны...

— Я не врывался, — сказал Жора. — Просто не всё зависит от нас.

— А я? — спросил Потехин.

«Да, ему трудно... И ничего не получится... всё равно. И я не собирался. Надо сказать ему об этом. И пусть он живет себе спокойно, какое мне дело...»

— А если я люблю? — спросил Жора.

Потехин вдруг с размаху ударил кулаком по столу.

— Господи, как это стыдно! — сказал он. — Как всё это безобразно. И это я?

— Вы мне стол сломаете, — сказал Жора.

— ...Я унижаюсь. Выпрашиваю подаяние... Я... У кого?

— Мне пора уходить, — сказал Жора.

— Что же вы мне скажете на прощание? — Потехин попытался иронически усмехнуться, но получилось жалостно. Тогда он шагнул к двери и распахнул ее, и исчез. Только порыв ветра пронесся по комнате и колыхнул марлю на портрете, и откинул ее. И на глянце заиграло заходящее солнце, словно вспыхнул костер. И, сидя возле этого костра и щурясь от дыма, Викентий Трубников сказал:

— Может быть, я был неправ, Семенов, может быть, это слабость, распущенность, но я не могу забыть Катерину. Стыдиться мне, Семенов, а? Как ты на это смотришь?

— Чего ж стыдиться, — сказал Семенов, — девица красивая, скромная.

— И все-таки это слабость. Вот ведь какая война кругом, кровь льется, голод... Интеллигенту захотелось любви... А, Семенов? Нелепость, да?

Семенов подбросил хворосту в костер. Полк спал. У опушки леса паслись кони. Они походили на гигантских доисторических ящеров.

— А может быть, это всё — обыкновенная физиология? — сказал комиссар. — Как ты думаешь, Семенов? Может быть, это выше сознания, и ничего не поделаешь? Просто человек бессилен. Вот я вижу: с одной стороны, идеи, борьба, верность, мужество, мировая революция, с другой — женщина. И мы идем непреклонно вперед, ан нет-нет да и оглянемся. «Эй, не оглядываться!» — кричат командиры. И мы снова идем вперед, но в темечке ноет, потому что она смотрит вслед, и нет от этого спасения.

— Женщина всегда человеку нужна, — сказал Семенов, — во-первых, хозяйка, во-вторых — жена...

Потом к костру подошли караульные и подвели женщину.

— Вот, товарищ комиссар, вас ищут.

— Катерина... — всхлипнул Викентий Трубников от неожиданности.

— Вот тебе и мировая революция, — усмехнулся Семенов и пошел от костра прочь.

Она была во всем черном, даже платок на голове был черным. В руке она держала узелок. Он походил на букет белых роз.

— Чего это у вас в узелке? — сам не понимая почему, спросил Трубников.

— Вот я к вам пришла, — сказала она.

И она сняла с головы платок, и он упал на траву, распахнувшись. И села. Она сидела перед Трубниковым и смотрела на него, и не опускала глаз по-деревенски. И они молчали. И темные чудища шуршали травой на опушке.

— А ночка сыроватая, — сказал Викентий Трубников. — Скоро осень.

— Хотите, я вам кулеш варить буду?

— Мне? — удивился Трубников.

— Всем вам.

— Пшена нет, — сказал подошедший Семенов. — Без баранины можно, а вот без пшена никак.

— А у меня пшено с собой, — сказала Катерина. — На всех хватит.

И она ткнула рукой в белый узел. Семенов чмокнул губами от удовольствия. Комиссару захотелось погладить Катерину по голове, и правая рука его шевельнулась было.

— Спасибо, пригодится, — сказал он.

Вечером следующего дня командир полка, бывший шахтер Кружкин, отвел комиссара в сторону и сказал, глядя на свои новенькие офицерские сапоги:

— Скоро марш закончим. Дня на три осталось прогулочки... Потом опять пульки зацокают...

— Зацокают, — сказал комиссар.

— Зацокают, — повторил Кружкин. — А ты бабу завел?

— Какую бабу?

— Ты, комиссар, полюбовницу хочешь в обозе таскать?

— Чушь какая!

— А может, она жена тебе?

— Она ведь жена моя, — обрадовался Викентий Трубников.

— Она не жена тебе. Она трудовая сирота с хутора. Ты, комиссар, на манер царского поручика хочешь невинную бабу испортить?

— Ты что! — крикнул Трубников. — Я же люблю ее...

— Тогда женись законно при всем полку.

— А если она не захочет? Ты что, смеешься, Кружкин? Или полк повеселить хочешь?

— Захочет, — сказал Кружкин. — За красного-то комиссара... Ты ведь спал с ней?.. Захотела?..

Викентий Трубников торопливо застегнул ворот гимнастерки и тоненько крикнул:

— Товарищ командир полка, вы меня оскорбляете!

— Неужто не спал? — дружелюбно спросил Кружкин. — Вот чудак. Тогда и в самом деле спросить надо. Хочешь, я спрошу?

— Позволь уж, Кружкин, мне самому устраивать свои дела, — примирительно сказал Викентий Трубников.

— Поженим перед всем полком.

— А мировая революция? — усмехнулся Трубников...

Через пять дней Матвей Кружкин лежал на траве, полуприкрытый красным знаменем полка. Волосатые жилистые его кулаки покоились на груди, тонкие губы были плотно стиснуты, словно командир полка отказывался принять горькое лекарство. Полк стоял полукругом. Свадьба была отложена. Викентий Трубников написал своему старому другу:

«...тем более, что ни она, ни кто-нибудь другой не знают об этом. Знали только я да Матвей. Теперь он погиб. Я подожду. Я ведь знаю, как это может быть. Я люблю ее, Зина, до головокружения. И она, конечно, чувствует это. По-моему, и она ко мне определенно неравнодушна. Но ведь я стал таким разумненьким. Я всё время сдерживаю себя. Она неграмотная крестьянская девушка. Сможет ли она быть мне другом? Поймет ли она то, ради чего я подставляю себя под пули?.. Но самое страшное все-таки заключается в том, что я всё время думаю о ней, и нет никаких сил справиться с собой. Что это такое, Зина?..»

И Трубников смотрел вдаль, стоя рядом с тачанкой, словно ждал, что же такое ответит ему Зина. Становилось темнее. Во взгляде комиссара сквозила озабоченность.

...— Она не пришла, — усмехнулся Жора. — Началась семейная драма. Рушится новая квартира. Отпадает необходимость в спальном гарнитуре. Боже, Ты такой всемогущий, как же Ты

не смог учесть такого пустяка? Дай товарищу Потехину пожить в свое удовольствие. Ему нужна жена, которая его не любит. Сделай так, чтобы внешне всё было пристойно. Он числится в хороших архитекторах. Начальство им довольно. Пусть оно в нем не разочаруется. Жора, ты одинокий чудак. Не лезь ты к людям. Делай свою фотовыставку. Птичкина тебя оценит. Осчастливь человечество. Человечество посмотрит на себя со стороны, удивится и будет тебе благодарно. Ты, Жора, сделал всё, что мог. Больше ничего у тебя не получится. Мало уметь снимать, нужно уметь обобщать. У тебя в голове ералаш. Ты бросаешься от одной темы к другой. Форма не дает тебе покоя. Может быть, жизнь людей — это как Парк культуры? Они входят туда семьями, благоговейно. Покупают мороженое. А что там впереди? Ах, да это же площадка аттракционов. Вот бревно, по которому нужно пройти. И они идут всей семьей. И кто-то из них скользит на землю. Потеря. А дальше — трамплин. Ну-ка, давайте-ка попрыгаем — кто дальше. И они прыгают, все вместе, взявшись за руки. Можно было бы не прыгать, но ведь все прыгают, раз есть трамплин — нужно его испробовать. Хлоп — вывихнута нога. Хватит! За всеми не угонишься. Что-нибудь духовное. Ах, вам чтобы дух захватывало? Да, да, пожалуйста. Это пользуется спросом? Еще бы! Качели. Вся семья забирается в лодку качелей. Раз, раз, раз, раз... Ого! «Я хочу остановиться...» — говорит жена. — «Давай, давай!» — кричит сын. «Все же качаются, думает отец, чем же мы хуже?..» Трах!.. Жена выпадает из лодки. И это на полном ходу. Представляете? Ее поднимают на руки. Несут. Нужно уходить отсюда к черту. «Но ведь мы и половины всего не видели», — слабым голосом говорит она. Семья поредела. Лица мрачны. Есть еще колесо смеха. Все усаживаются в центре большой чечевицы. Она начинает вращаться. Центробежная сила выталкивает людей к бортам, сбрасывает их с чечевицы. Останется тот, кто в самом центре. Все стараются остаться. Но всех несет. Они отталкивают друг друга. Отец подбирается к центру, но кто-то мешает ему. Чечевица остановилась. В центре сидит победитель. Он смеется. «Это нечестно, вы меня столкнули», — говорит ему отец. Но кругом смеются. Победителей не судят. Они идут дальше. Комната смеха. «Очень хорошо», — бледнея, говорит жена. Там зеркала. В каждом из них они видят уродливые свои фигуры. «Как ты прекрасна!» — хохочет отец. «А ты настоящий Квазимодо», — говорит она, смеясь. «Ну и родители!» — заливается сын. И вокруг все смеются. Очень веселый аттракцион...

— Сытов, — сказал Жора, — пошли в Парк культуры.

— Нет, — сказал за стеной Сытов, — поздно.

Он вошел к Жоре.

— Ты бы женился, Жора. Время-то проходит.

— На ком это еще?

— А вот девица к тебе приходит. Смотрит на тебя волшебно...

— Она чужая жена.

— Я знаю, — сказал Сытов. — Это по ошибке.

— А если и от меня уйдет?

— Значит, тоже ошибка была.

— Не много ли ошибок?

— А так ведь оно лучше, чтобы все ошибки побыстрее прошли...

— Ты-то сам, что?

— Меня женщины боятся. А благодаря чего? Благодаря того, что я очень сам их люблю. Они большой любви боятся. Неспокойно им. Вот твой Пузырьков, он женщинам угоден. Он летать не умеет.

— Летать?

— Без полета он.

— А я?

— А ты нет, ненадежен ты, вот что. Одна неопределенность с тобой. Кто ты? Куда ты? Зачем? Почему?.. Женщине покой нужен.

— Зачем же мне жениться, Сытов?

— Когда есть любовь, вопросы излишни. Тем не менее...

— Пойдем, Сытов, в Парк культуры.

— Мне в ночную смену заступать. И вообще, не люблю суеты. Возьму на неделю отгул — поеду с гитарой на Клязьму. Сяду над рекой... Вот тебе и культура. Прочищает мозги, тем не менее.

И он ушел.

— Легко тебе, Жора? — спросил Жора у самого себя.

Неумолимо надвигалась осень.

Отец написал из Иркутска:

«...Глупо вот так бить баклуши. Нужно делать что-то главное, а подобные замыслы должны осуществляться параллельно. Это прекрасно, то, что ты задумал, но для этого нужны знания и время. Ты живешь, как поэт из плохого романа восемнадцатого века. Мне даже кажется, что ты зарос волосами и уже давно не причесываешься...»

Тогда Жора подумал о самом банальном, что может прийти в голову вот в такую минуту, и, очевидно, под впечатлением стро-

гого родительского письма, он подумал о деньгах. Их оставалось мало. Сбережения подходили к концу. Он не осуществил и сотой доли своего замысла. Чем дальше погружался он в раздумья, тем большее число тем волновало его, тем бессильней казался он самому себе.

— ...Вы что, с ума сошел? — сказал ему Пузырьков, — я останусь совсем без рук, если ты уйдешь...

— И все-таки я уйду, — сказал Жора, — потому что на эти денежки не проживешь.

— А, ты стяжатель! — крикнул Пузырьков, — тебе денежки нужны... Для народа потрудиться не хотите...

— Скажете тоже, стяжатель, — зевнула Люся, — человек с дипломом в этой лавочке сидит.

— Вы дура, — тихо и назидательно сказал Пузырьков. — Ты должна понимать, что диплом — это украшение. У меня нет диплома, а я — крупный спец.

— Это я дура?

— ...и я тружусь на благо, потому что людям нужно, чтобы их увековечили...

— Это я дура?

— ...лучше бы вы не приставал ко мне с глупостями...

— Жора свидетель, что вы меня обозвали! Я в суд на вас подам...

— Подай, подай. И шубу нейлон первый сорт туда отнеси. И колечко...

— Как вам не стыдно, — сказал Жора, — жизнь и так сложна, а вы...

Но у Люси бежали слезы. Одна, прозрачная, повисла на кончике носа. Пузырьков выбежал из фотоателье. Клиентов всё не было. Тогда Люся сказала, улыбнувшись:

— С ним круто нужно, а то он сразу докладную писать станет.

И тут произошло чудо. Зазвонил телефон, просили Пузырькова, Люся сбегала за ним. Он говорил долго, прикрываясь рукавом. И всё же был виден краешек его лица: щека, лоб, покрытые пóтом. Потом он аккуратно положил трубку. Сел.

— Вы понял? — сказал никому. — Теперь вы можете уходить. Я тоже ухожу. Я ухожу на повышение. Пока вы тут размахивал руками и кричал о всяких ракурсах, я ушел на повышение. На сорок рублей больше, и никаких консультаций.

— Поздравляю, — сказала Люся.

— Куда же это? — спросил Жора.

— Ооо, — сказал Пузырьков, — высота!

— Нас-то не забывайте, — сказала Люся.

— Не забуду, — сказал Пузырьков и забегал по ателье, — не забуду.

— Так закончилась эпоха Пузырькова, — сказал Жора.

— Шути, шути, — засмеялся Пузырьков, — мне сейчас не страшно. Мне сейчас песни нужны, смех и шутки.

Он действительно ушел, этот Пузырьков. Случилось то, что иногда случается. И двери известного Дворца культуры раскрылись перед ним, и кресло директора промялось слегка под его нетяжелым телом, и жизнь потекла своим чередом.

Потом Жора зашел к Пузырькову в гости. Ему было смешно идти туда и странно. И легкий озноб сопровождал его, пока он шел к директорскому кабинету.

Пузырьков стоял у окна, вцепившись в шторы обеими руками. Лицо его было испуганным.

— Случилось что? — спросил Жора.

— Высокий полет. Дух захватывает, — чистосердечно признался Пузырьков и спросил Жору: — Рожденный ползать летать может?

Жора засмеялся.

— Может?

— Может, может...

— Хочешь, я вас назначу главным администратором? — шепотом спросил Пузырьков.

— А искусство? — усмехнулся Жора.

— Искусство — ночью. Зато будешь получать... Три раза в неделю сможешь в «Арагви»... четыре раза... Хочешь?

— Нет.

— Свои люди нужны. Люся вот переходит руководить самодеятельностью...

— Она же не актриса, — сказал Жора.

— Руководить, — поморщился Пузырьков, — руководить. Объединять. А специалисты есть. Артисты там, танцоры, гитаристы.

И Пузырьков снова подскочил к окну и снова ухватился за шторы, и так молча смотрел на Жору, как на чужого. А Жора привычно нажал спуск аппарата.

— Запечатлел? — спросил Пузырьков. — Нашел ракурс?

Когда дома Жора глянул на проявленную фотографию, ему

стало жаль Пузырькова. И тогда же, в тот вечер, он принялся увеличивать вторую фотографию, с которой смотрела на него маленькая девочка со злым старушечьим лицом. Он провозился с работой несколько дней. Дело шло к концу. Но вот этот сегодняшний приход Потехина! И Тани нет... А если она все-таки придет? Что теперь говорить? Теперь, когда всё уже проявилось? О чем говорить, когда и без слов всё ясно? И что можно сказать? Таня, если ты... вы... ты... Если ты понимаешь, за чем же дело стало? Вот я весь перед тобой, смешной, тридцатилетний. Вы не можете себе представить... Ты не можешь себе представить, как много для меня, когда ты сидишь рядом и смотришь на меня, и горькие складочки у твоих губ разглаживаются странно. Горькие складочки, которые ты носишь с самого дня рождения, а потом они становились всё глубже и глубже...

За стеной в комнате Сытова пробили часы. Десять раз. И одновременно раздался звонок в дверь. Жора кинулся открывать. Сначала он не узнал маленькую женщину, вставшую перед ним на пороге. Потом, когда она шагнула на свет, он вспомнил. Он увидел ее лицо и вспомнил: однажды в темном коридоре Таниной квартиры она мелькнула перед ним вся в белом и удивила его своими глазами, полными слез.

— Аа, это вы?

— Это вам, — сказала она, подавая сложенный листок бумаги. — Это Таня просила передать... — и при этом очаровательно улыбнулась. У нее была такая улыбка, про которую Пузырьков говорил: «Судьба», а Жора считал ее признаком духовной расхлябанности. Она некрасива и хочет запретить думать об этом. А может быть, это от наглости? А может быть, от самоуверенности? Впрочем, какая самоуверенность?..

— Пригласите меня в комнату, — приказала она, — я подожду ответ.

И пошла к двери.

— У меня там черт знает что... — сказал Жора.

Но она уже ходила по его пятнадцати квадратным метрам, осматривая стены и мебель, словно должна была купить эту комнату.

— Стул почему-то посередине, — сказала она и отставила стул к стене.

— Вы читайте, читайте...

И она прикрыла одеялом разворошенную Жорину постель и при этом пожала плечами.

«...Простите, что я не пришла, как обещала. Зато Он был. И Он, наверное, всё сказал. Всё это очень глупо и стыдно...»

— Вы можете пока посмотреть эти фото, — сказал Жора.

— Меня зовут Вера.

Жора кивнул.

«...Вера может передать мне ответ. Ей можно доверять. Она в курсе моей жизни...»

Курс жизни... О, как уже серьезно! Есть от чего заболеть сердцу... Курс жизни... Курс корабля... Курс любви... Курс акций...

— А вам самому это нравится? — спросила Вера.

Она разглядывала руки Пузырькова, и глаза ее были полны слез.

Неужели это так впечатляет? Вся эта придуманная, искусственная жизнь, запечатленная на клочках глянцевой бумаги, в которую он перестает верить — так она поверхностна и неподвижна.

— Вам самому нравится?

— Нет.

— Вы хотели всю жизнь изобразить с помощью вот этих штучек?

— Я не с того начал, — сказал Жора, словно извиняясь, — теперь я знаю, что нужно делать...

— А Таня говорит, что вы гений...

И она продолжала вышагивать по комнате, уверенно переставляя тонкие стройные ножки. Когда она поворачивалась к Жоре, он видел на лице ее интерес, даже благоговение, но в профиль лицо ее выглядело насмешливым, и Жора никак не мог понять: смеется она или восхищается.

«...Мне все-таки необходимо с Вами увидеться. Если Вы согласны, подойдите к двенадцати к моему дому. Это безопасно...»

— Вы подруга Тани? — спросил Жора.

— Ну что вы, — усмехнулась Вера, — мы не можем быть подругами. Мы по-разному воспринимаем жизнь.

И она снова отвернулась к стене, и снова едва уловимая насмешка мелькнула в уголках ее рта.

— Я ее соседка, — сказала Вера. — Соседка по коммунальной квартире... Что это должно значить?

— Что?

— Вот эти сапоги.

— Обыкновенные солдатские сапоги.

— Для чего же вы их сфотографировали?

Жора вдруг почувствовал, что он и сам не может объяснить, для чего ему эти сапоги. Все вдруг вылетело из головы, стало маленьким и смутным... И эта маленькая женщина, неужели она не смеется? Она продолжает спокойно ступать по комнате, она кружится, как вечерняя бабочка, случайно залетевшая на огонек, и расточает усмешечки как комплименты. Но странно, Жору не беспокоило это легкое покалывание, если это было покалывание, словно она говорила с ним его языком. И всё померкло вдруг: и ателье, и замысел, и письмо отца, и сомнения...

— Это взяточник? — спросила Вера.

Руки Пузырькова тянулись к ней со стены.

— Это тоска, — пошутил Жора.

— Ну какая же это тоска, — спокойно не согласилась она, — это взяточник. Всё ясно... Только зачем это?

И Жоре стало внезапно легко и просто. Действительно, зачем это? Ей это не нужно, Пузырькову тоже, Птичкиной тоже...

— А вы любите Таню? — спросила Вера.

— Начинаются проклятые вопросы, — засмеялся Жора. — Она моя заказчица. Какая уж тут любовь...

И ему захотелось подраться с Потехиным, загнать его в угол, спросить, прищурившись, тяжело дыша: «Ну что?»

— А вам не жалко Потехина? — спросила Вера.

— Чего мне его жалеть? У меня с ним дел нету. Мы не знакомы. Таня заказала мне...

— Я-то его не жалею, — сказала Вера.

— Очевидно, что-то есть в нем, если Таня...

— Вы проводите меня?

Они вышли в коридор.

— Что передать Тане?

Жора замялся. Он никак не мог сформулировать свое согласие.

— Ну, что вы молчите?

Если сказать, что он согласен и рад, не прозвучит ли это слишком напыщенно? Снова увидеть, как мелькнула насмешечка?..

— Ну? Что же вы? Господи, как это невероятно... Скажите да или нет...

— Да, — сказал Жора.

— Да? — переспросила она, теперь уже явно усмехаясь.

— Да.

Она выходила спокойно, плавно переступила порог, гордо, как аист. Глаза ее были полны слез.

АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН И ДРУГИЕ

— Ни с кем еще я не была так подобострастна, как с тобой, — сказала Таня. — Или я в самом деле влюбилась в тебя? И я всё тороплюсь, тороплюсь, как будто это должно исчезнуть... Всего лишь неделю, а кажется, что мы давно вместе... Он молчит. Он всё знает. Я не говорю, но он всё знает. Впрочем, это меня не заботит. Но ты, ты... Ты как? Ты что? Я нужна тебе, да? Господи, я ни с кем так не говорила...

— А как?

— Вот так.

И она изобразила на лице пренебрежение и высокомерие, и еще что-то, не имеющее названия, женское, защитное.

— Я нужна тебе?

— Мне хорошо с тобой.

— Ты думаешь, мне нравятся твои глаза?

— Я этого не думаю, — засмеялся Жора.

— ...А может, это не влюбленность, а любовь?

— Какая разница?

— ...и лень, какая-то чудесная лень... Больше ничего не нужно. Пусть всегда будет так. У меня ведь никогда не было т а к .

— А с ним?

— Нет, нет.

— А в первый день?

— Я была ему благодарна.

Она смотрела на него внимательно, словно впервые видела. А Жора сидел у окна, чуть сутулясь. И чувствовал этот взгляд. И слегка шевелил головой, плечами, словно подставляя под этот взгляд то щеки, то плечи, то руки.

...В тот вечер, точно в назначенное время он подбежал к ее подъезду. И слышал, как сказал Потехин:

— Пожалеешь, Таня.

Потом по деревянной лестничке застучали ее каблуки.

«Не пожалеет», подумал Жора...

— ...Все произошло слишком стремительно, — сказала она. — Тогда я бежала к тебе, а сама думала: «Попрошу ускорить увеличение фотографий. И всё должно быть в высшей степени пристойно... Я тороплюсь. Деньги я занесу завтра. Обстоятельства сложились так, что я должна торопиться...» А сама посмотрю в

твои глаза, украдкой, чтобы ты ничего не заметил. Ты знаешь, а ведь я не такая уж взрослая. Я это сегодня обнаружила.

— Как ты смотрела на мужчин?

Она опустила уголки полных губ, глаза похолодели, голова откинулась.

— Вот так.

Жора засмеялся.

— А со мной тебе хорошо?

— Ты знаешь, мне хочется стать перед тобой на колени. Это, наверное, недопустимо в наш просвещенный век, но мне хочется... И мне совершенно не стыдно.

— Стань, — сказал Жора.

И она стала. Легко и стремительно. С радостью на лице. И вдруг застеснялась и уткнулась лицом в его колени.

— Как странно, — сказал Жора, — это ведь я должен был стать перед тобой. Всё перепуталось.

— А ты меж тем грустен, — сказала она, — и я не знаю, как тебе помочь, и это меня мучает... Послушай, давай выйдем из этой комнаты. Там солнце.

Они вышли. Улица была шумна и солнечна.

— А все-таки как стремительно приближается осень, — сказал Жора, — уже падают листья, подходит к концу мой смешной и нелепый отпуск.

— Разве можно так грустить? — удивилась она.

— ...Однажды я посмотрел на самого себя с большой высоты. Это случилось недавно. Оказывается, я такой маленький и тщедушный... ну что я могу?

— Просто ты испугался, — сказала Таня. — Не может ведь всё получаться сразу.

— А что, если я великий художник? Или — великий писатель? Только мне об этом неизвестно...

— Один мой знакомый собирает открытки. Он говорит, что это приятней, чем читать передовицы газет.

— А что, если в нем погиб великий математик?

— Или великий пекарь... — засмеялась она.

— Я чувствую себя жалким и робким, — сказал Жора, — кто научил меня этому искусству — не доверять самому себе? Просто я не оттуда начал, я не так пошел. Я понимаю теперь. Теперь я всё буду делать иначе.

...И в это же самое время Александр Потехин садился впервые в персональный автомобиль.

— Надо бы обновить, — сказал он шоферу смущенно.

— Обновляйте, — не поворачивая головы, отозвался шофер, — куда поедем?

«Угрюмый какой, подумал Потехин, и грубый...»

— Пока прямо, — приказал он.

И тут же подумал о Тане. Она, наверное, с этим длинным своим любовником. Как волка ни корми... Но он, Потехин, спокоен. И откуда это спокойствие?

— Всё равно придет, — сказал вслух.

— Прямо? — спросил шофер.

Он только кивнул в ответ. И тут же увидел Таню. И даже обрадовался, что его предположения оправдались. И озорная мысль затрепыхалась, как воробей в кулаке. Он обогнал их. Остановил машину и вышел.

— Прошу, — сказал, улыбаясь. И тотчас стушевался. Но Таня приняла вызов.

— Может быть, действительно проедемся? — спросила Жору.

Жора пожал плечами. Говорить было трудно. Потехин заторопился. Он усадил Таню, сел рядом, предложил Жоре место рядом с водителем.

Машина тронулась в молчании.

«Как он благороден», про себя усмехнулся Жора.

«Глупая затея...» — недовольно поморщился Потехин.

«Теперь все равно», подумала Таня.

Они ехали на Выставку, чтобы пообедать в рыбном ресторане. Молчание становилось тягостным.

— Вот мои дома, — сказал Потехин.

Он указал на ряд пятиэтажных новых домов стандартного типа.

— Да, таких домов много теперь, — сказал Жора, чтобы что-нибудь сказать.

Ведь ничего не произошло. Ровным счетом ничего. О чем печалиться?.. Взрослые серьезные люди...

— Говорят, в них жить неудобно, в этих домах, — сказал Жора.

— Неправда, — сказал Потехин.

— Говорят...

— Я в это не верю, — сказал Потехин.

«Глупая затея, подумал он, — глупый разговор, глупые физиономии. И она молчит. Что она в нем нашла?..»

— Людям нужна красота, — нехотя сказал Жора.

— А это и есть красота, — строгость, — сказал Потехин.

— Я точно в таком доме живу, — сказал шофер, — очень неудобный дом. Слышимость, — и подмигнул Жоре.

— Я в это не верю, — зло сказал Потехин.

— Есть хочется, — сказала Таня.

Жора пожал плечами. Потехин умолк. Рука его лежала на спинке переднего сидения. Она даже побелела, так напряглась.

«Как он волнуется, подумала Таня, как ему тяжело. Зачем он всё это устроил? И разве он виноват, что ему поручают строить такие дома?..»

Потехину захотелось спросить: «Ну, ты пойдешь с ним или со мной?» Но не решился. Потом он подумал, что если даже она встанет и пойдет с ним, с этим долговязым фотографом, ведь такое может быть, от нее всего можно ждать... Так вот, если даже она пойдет с ним, он так возьмет себя в руки, так спокойно и учтиво раскланяется, так мило скажет им: «Заходите...», что это будет как оплеуха...

И он еще крепче вцепился в спинку сидения. И Танина рука мягко коснулась его руки, так, что он даже всхлипнул тихонечко.

Зачем, зачем всё это?.. Кому это нужно?..

...Какая сила заставила Жору доехать до ресторана, встать, пройти к столику как ни в чем не бывало, он не мог объяснить. Они сидели над самым прудом. Молча. Синеватые жирные карпы сновали под водой у самой поверхности. Когда им бросали хлеб, они почти выбрасывались из воды, гнались за ним, настигали, рвали друг у друга и при этом сопели и чавкали как свиньи, а Жоре слышался даже стон. Может ли рыба стонать? Господи, это та самая прекрасная рыба, которая так хороша жареная, так достойна в иллюстрациях «Мира животных»? И это она ворчит и чавкает? И если бы ей зубы и пошире пасть, она рвала бы глотки своим соплеменницам?..

Они сидели над самой водой. Молчали.

— Как долго не несут, — сказал, наконец, Потехин.

...Я сидел по соседству, и мне хорошо были видны их лица, но я сидел так, чтобы не выглядело бестактным мое внимание к ним. Я не слышал их слов, только видел лица да губы, нехотя шевелящиеся.

Потехин вертел в пальцах вилку и делал это довольно искусно. Таня скатывала хлебный шарик. Жора швырял корочки карпам и при этом поеживался. Вот так же, не переставая вертеть вилку, Потехин что-то произнес, и тотчас Жора забыл про

карпов и попытался подняться. Танина рука лениво легла ему на плечо, и он сел снова. Синие глаза его словно потускнели, и лицо выражало растерянность, недоумение, неловкость. Затем принесли еду. Столик оказался тесным. Пока официант расставлял блюда, они молчали. Потехин разлил водку. Он улыбался и смотрел всё время на Таню. Так же молча они выпили. Затем еще. И еще. Потом Жора размахивал руками и что-то доказывал, Таня смеялась невесело, Потехин показал Жоре шиш и, протягивая руку, опрокинул графинчик. Таня ударила его по руке...

— Не верю, — очень явственно произнес Потехин.

— Да замолчи же, — сказала Таня.

— Ты думаешь, тебе всё можно? — спросил он у Жоры.

— Я фотограф, — засмеялся Жора.

— Не смей над ним смеяться! — прикрикнула на него Таня.

— Знаем мы вас, — сказал Потехин, — сами не дураки...

Жора поднялся со своего стула и чересчур аккуратно пошел меж столиками. Потехин качал головой и смотрел в свою тарелку. Таня пыталась его растормошить.

Жора шел пешком через весь город. Пока он шел, небезызвестная Птичкина входила в обширную приемную влиятельного лица.

Миловидная секретарша предложила подождать, а сама пошла докладывать. Птичкина села в кресло, развернула на коленях веер Жориных фотографий, стала набираться мужества. Это стоило ей немалых усилий. Ибо Птичкина была человеком честным, но мужеству было тесно в ее хрупком и небольшом сердце. Этот человек, к которому она вошла, был, как она слышала, немногословен, любил краткие формулировки, не терпел словесной воды... Она вошла к этому человеку, поджав губы, стараясь не опускать глаз. Он очень тепло приветствовал ее. Он уже знал, о чем пойдет речь. Ему нужно было посмотреть фотографии, чтобы кивнуть головой, и чтобы после этого гостеприимно раскрылись двери выставочного зала. И тогда неукротимая фантазия этого синеглазого мужчины...

Он рассматривал фотографии, а она, стараясь смотреть ему прямо в глаза, давала пояснения.

— ...так год за годом, сквозь муки и праздники... Не обычным путем, а как бы полутонами, психологической характеристикой. С этого начнется.

Она ткнула пальцем в фотографию Викентия Трубникова. Комиссар смотрел на этого человека не очень доброжелательно.

— ...потом война, — торопилась Птичкина, — потом мир, и снова война... и опять...

— Вам нравится это? — спросил он.

— У американцев... — начала было она.

— Ну, то у американцев, — сказал он.

— Но там человечество вообще, — возразила она, — а здесь мы, со всеми, так сказать...

— Неужели вам нравится это? — снова спросил он.

— Нет, — сказала оробев Птичкина, — не совсем... — и даже обрадовалась, что так быстро пришлось сдаться.

Он засмеялся.

— Если я покажу это товарищам, — сказал он дружелюбно, — они будут смеяться.

— Не надо, — попросила она и потянулась за фотографиями.

— Почему у вас всегда всё так мрачно? — спросил он.

— У кого? — не поняла она.

Он снова засмеялся.

...Было уже сумеречно, когда Жора добрался до своего дома. Хмель прошел. Осталось ощущение обиды. На лестничной площадке, у самой двери он увидел Таню. Она пошла к нему медленно, осторожно, не дыша.

«Теперь она будет просить прощения, подумал он, клясться, объяснять, как она несчастна...» Лицо ее было помято, от нее пахло водкой. Он захотел назвать ее предательницей, но потом раздумал.

Хоть бы только не каялась, хоть бы только не врала...

— Я жду тебя больше часа, — сказала она.

— И что же?

— Я хотела сказать тебе, что мы больше не увидимся. Всё это были одни глупости...

Ему даже показалось, что она смеется, но лицо ее по-прежнему было бледно и неподвижно, и даже печально.

— Я не могу сейчас ничего объяснить, но это свыше моих сил... Мне жалко его... Я ему многим обязана... Столько лет ради меня он добивался новой квартиры!.. И вдруг...

Ему захотелось обнять ее, поднять на руки, унести к себе и не отпускать.

Она стояла совсем вплотную к нему, так, что он даже ощущал тепло, легкое тепло, исходившее от нее. На верхнем этаже хлопнула дверь.

— Пойдем ко мне, — попросил он.

Она пожала плечами.

Тогда он открыл дверь.

— Пойдем...

Она покорно пошла в квартиру.

Он запер дверь комнаты. Света не зажег. Подошел к ней. Обнял ее судорожно. Ему хотелось крикнуть что-нибудь печальное, громкое...

— Пусти, — сказала она, — не надо.

И стала раздеваться.

— Я слабый человек... я не могу уйти от него... — сказала она, швыряя на стул одежду. — Он много мучается... это я во всем виновата...

Потом наступила тишина.

— Ну, где ты там? — спросила она как из колодца.

КАТЕРИНА ТРУБНИКОВА И ДРУГИЕ

После увеличения с лица девочки, стоящей на пепелище, исчезло злое старушечье выражение. Морщинки даже как-то разгладились, и глаза даже посветлели. И теперь в них была скорбь, не более. И лицо ее, в натуральную величину, казалось чуть расплывшимся. Но явственнее проступили слабые контуры детского, что и должно было быть в этом лице: ну там — ямочки на подбородке, если вообще могла быть ямочка на голодном теле, ну там — совсем детская нижняя губа и тонкие, словно выщипанные брови... Но уж во всяком случае она не плакала после того, как мордастый фашист, равнодушно сфотографировав ее, дал ей пинка... А может быть, он и не дотронулся до нее, а даже дал ей шоколадку, или даже приласкал и вспомнил своих девочек, и даже прослезился, а может быть, он вообще был прекрасен и добр, и лишь печальные обстоятельства увели его прочь от родного дома, туда, где ему предстояло жечь и давать пинки... Но у этой девочки так рано легла морщинка. И это уже потом она разгладилась. Но тут же проступила вторая. Потому что уж так ей повезло, что одно — за другим, одно — за другим...

Затем Жора поставил две фотографии рядом: фотографию комиссара Трубникова и эту. Но Викентий Трубников не узнал дочери. Он не думал, что у него такая дочь: маленькая голодная девочка среди пепелища. Он думал, что уж если будет дочь, то будет как праздник на зеленом лугу, и у нее — сачок в руке, и бабочка, и смех... А после — еще прекраснее, а после... Он думал,

что будет так, если вообще будет. Так он думал, если вообще думал об этом, вглядываясь в степь.

Но в ту минуту дочери он не узнал, так как рядом с ним, срезанная фотоаппаратом, стояла Катерина, и он сказал ей тихо:

— Прости меня, Катя... Я ведь не виноват, но ты прости.

Она ничего не сказала, только сделала рукой вот так, словно смахнула со лба волосы. Точно так она сделала накануне, когда всё это произошло.

После того, как полк ворвался в скучный волжский городок, уже не было надобности продолжать рубку. Но кони несли, клинки словно сами вращались над головами, и пулемет бил с тачанки куда-то вперед, без цели... И не было сил остановиться. И Викентий Трубников размахивал маузером и что-то кричал, а что — он не мог вспомнить. Это было что-то от страха, от неистовства, от жалости, от детства. И когда он видел погоны бегущих белогвардейцев и их спины, его рука сама собой вытягивалась вслед им, и палец нажимал на спуск... И уже после, на самой окраине городка, Семенов круто развернул тачанку, и по пустынной улице, отделившись от забора, вдруг побежал, прихрамывая, грузный невысокий штабс-капитан. И Трубников выстрелил ему вслед, но промахнулся. А штабс-капитан продолжал бежать, смешно подпрыгивая как заяц, и комиссар, не отдавая себе отчета, соскочил с тачанки и побежал за ним вслед, и стрелял на ходу, и не мог попасть, и всё больше и больше распалялся. Штабс-капитан был, вероятно, ранен. Он хромал всё больше и больше, и Трубников настигал его. Вот уже показался конец улички, а за ним — ровное поле, а дальше — лес... И тут штабс-капитан споткнулся, и фуражка слетела с его головы. Трубников был уже совсем близко. Перед ним закачалась непокрытая голова с большой круглой лысиной, обрамленной седым нимбом. Потом случилось самое невероятное: штабс-капитан резко повернулся, взмахнул руками и упал на колени, и пополз к комиссару. Трубников стоял неподвижно, уставив маузер прямо в старческое лицо офицера. А тот всё полз и полз. И Викентий Трубников закрыл глаза и тут же услышал, как кто-то крикнул: «Не надо!», и нажал спуск, и открыл глаза. Штабс-капитан ползал по земле, словно устраивался поудобнее, потом затих. Рядом стояла Катерина, прикрыв ладонью рот. Она словно и не бежала следом, она словно выросла из земли.

— Как же это?.. — тихо спросила.

Подъехал Семенов. Широко улыбнулся.

— Допрыгался, — сказал штабс-капитану. — Стар-стар, а туда же...

— За что ж вы его? — спросила Катерина.

Трубников махнул рукой и пошел прочь. И тогда-то вот Катерина откинула волосы со лба, вернее сделала похожее движение, а Семенов сказал:

— Чудна́я ты какая-то: восемь месяцев с нами, а понять не можешь.

И потом уже, вечером, Трубников сказал тихо:

— Прости меня, Катя... Я не виноват, но прости меня...

Она сидела у окна. Бледная, худенькая, деревенская.

— Ты ведь жена моя, Катя, — сказал комиссар и посмотрел на нее с недоумением, как-то по-журавлиному.

— Крови много, — сказала она.

— Разве это кровь? — сказал Трубников и понял, что сказал не то. И подумал, что вот в следующем бою его непременно убьют.

Он подошел, обнял ее, погладил смуглые цыганские руки.

— Зато любовь у нас какая, а?

— На крови-то?

— Ну не надо об этом...

— Сколько ее, крови-то...

— Это враги, Катя.

— А Зуева убили...

— А он врагам продался.

— Живодеры вы все, все... живодеры вы... — сказала она и заплакала.

— Катя, — говорил он и гладил ее по голове, — Катя, Катя... Война ведь какая происходит.

— Один раз понравится, еще раз захочется, — сказала она.

— Ты непротивленка какая-то, — сказал комиссар, сердясь.

...Теперь в комнате у Жоры не было ни одной фотографии, кроме этих двух. Но в этих была такая бездна всего, что трудно было к ним подступиться. И он никак не мог понять, какая связь между этими двумя пепелищами. На одном — один утверждал новое, и на другом — другой его оплакивал. И Жора подумал о том, что он поступил правильно, сняв всё остальное, ибо всё остальное брало начало здесь, в этом доме, где царит благополучие, пусть хоть внешнее, а это началось с пепелищ, с крови, с пинков... Вот почему так много непонятного было в лице комиссара, вот почему на юношеских щеках покоились беспокойные морщинки... Не без причин, не без причин. Он словно всматривался не просто в степь, где скакали враги или куда уходила Катерина, а в себя

самого, в тот день, когда в нем загорелась первая искорка, и в тот день, когда в нем созрело первое решение, и в тот день, когда Катерина возникла как из-под земли над убитым штабс-капитаном и смотрела в глаза Викентию Трубникову, словно она и была-то его сомнением, которое тоже зародилось на крови.

— В этом и прелесть! — воскликнула однажды Птичкина, всплескивая руками. — Чем труднее, тем больше счастья...

«Почем тебе знать, что́ труднее», подумал Жора учтиво.

Пришло письмо от Тани. Он долго не вскрывал конверта. На нем был изображен летящий среди звезд спутник. Письмо просматривалось на свет. Оно было небольшое.

«...Я расписываюсь в собственной слабости... Я даже любила тебя, оказывается, банально. А ты так прекрасен и так ненадежен! Это не для меня, не для меня... Прощай, мой фотограф!.. Может быть, во мне и сентиментальности-то хватило лишь на это вот «прощай». Если бы я была сведуща во всем, как Вера, и так же как она холодна, может быть, мне бы и повезло идти с тобой хоть к черту на кулички... Что это во мне? Моих ли предков неустроенность или просто каприз? Или просто слабость? Или просто глупость?..»

— Ого, — сказал Жора, — долго ей, наверное, пришлось придумывать эти утонченные построения.

Но его «Ого» прозвучало печально в его устах. Был день, когда он, сгорая, запечатлевал руки своих соотечественников, пришел день, когда этого показалось мало и понадобилось увидеть глаза, и наступил день, когда и этого показалось мало.

«...Вы все мечетесь. Быстро-быстро. Мучаетесь и ничего не можете объяснить. А как же мне? И предложить вы ничего не можете... А как же мне?.. А он по крайней мере вот он весь как на ладони... И напрасно ты смеялся над ним. Он строит то, что ему приказывают... Он бы рад — другое, но ему приказывают...»

«А вдруг она придет сейчас?» подумал Жора. И он представил себе, как она войдет, и полные ее губы будут полны улыбки, и она скажет: «Ну сто́ит ли обращать внимание на эту писанину?» И вырвет письмо у него из рук и порвет его... А потом всё будет как прежде.

И он услышал стук. И вскочил. И тут же понял, что сам постучал по столу костяшками пальцев.

Тогда он встал уже медленней и решительней и засучил рукава. Работа — вот что должно занимать его голову, руки. Мало ли что случается на свете! Всему придавать значение?.. Таню ждет новая квартира. Пусть она собирает вещи. Он не винит ее.

Жизнь складывалась так, что нельзя пренебрегать этим. Он это понимает... Но если бы она пришла... Он теперь понял, чего ему не хватало. Он перестраивается. Довольно нам лили помои на голову... И все-таки как мало он умеет... Но если бы она пришла...

...А девочка на пепелище продолжала печально всматриваться в свое будущее. Откуда она могла знать, что там у нее за спиной? Маленькая сжавшаяся детдомовка, ждущая, что ее пнут, растерявшая своих сверстниц. Но если бы она могла вглядеться в прошлое, даже не в свое, а в прошлое давнее, она бы увидела, как Викентий Трубников вышел из вокзала и пошел по улице, запахивая прожженную шинель. И был дождь пополам со снегом. И Москва двадцать третьего года. И где-то на Арбате жила деревенская девушка Катерина и даже не предполагала, что у нее когда-нибудь родится дочь, и что ее назовут Татьяной.

Так пешком Трубников и прошел от Курского вокзала до четырехэтажного дома, в котором жила его жена, покинувшая комиссара по «принципиальным соображениям». И я не хочу сейчас вдаваться в подробности. В конце концов им жить вместе, им и выяснять отношения. Но я, во всяком случае, всегда был уверен, что размолвка эта — временная, ибо какой смысл мне было связывать их, если любовь должна была так скоро погаснуть. Э, нет. Есть ведь явления противоположные, а существуют рядом, даже вместе, и ничего, и даже больше того — процветают.

И Викентий Трубников взбежал по лестнице и позвонил, и Катерина вышла ему открыть. Она не ахнула, не всплескивала руками. Сказала: «Ну здравствуй же!..» и уткнулась ему в плечо.

О том, что произошло, они не говорили. Он сидел за столом, пил чай. Настоящий. И даже с овсяным печеньем. И старался держать печенье большим и указательным пальцами, а не в горсти.

— Что ж молчишь? — спросила она.

Но он молчал и пил чай. Она выходила, входила снова. Что-то приносила, уносила обратно на кухню. А он пил чай и ел овсяное печенье.

— Что ж не расскажешь ничего? — снова спросила она.

— Стесняюсь, — сказал он и улыбнулся. — Ты стала такая важная. Повзрослела, что ли?

— С вами повзрослеешь, — сказала она. И снова вышла.

Трубников знал, что выпало Катерине, когда они расстались. «Катя, Катя...» — твердил он ночами. И видел ее уже не девочкой с заброшенного хутора.

— Катерина-то, рассказывают, в Москве женщинами командует, комнату получила, — сказал однажды Семенов.

— Да? — удивился комиссар. Но это только внешне, а табак просыпал и новую самокрутку свернуть забыл.

— Откуда тебе известно?

— Рассказывают, — усмехнулся Семенов. — Женщинам воевать нельзя.

— Нравится тебе комната моя? — спросила Катерина.

— Нравится, — сказал Трубников.

— Останешься или кровь пойдешь проливать?

— Конечно, останусь. Куда же мне? Я ведь к тебе ехал.

Она принялась стелить постель на узенькой кушеточке у окна.

— Ты это кому стелишь? — спросил Трубников.

— Себе, — сказала она, не обернувшись.

— Да?..

— А тебе — на кровати...

— Да?..

— Четыре года — срок большой.

— Может быть, мне лучше в гостиницу? — обиделся Трубников.

— Как хочешь, — сказала она. И комиссар увидел, как дрогнули губы у нее.

— Ну ладно, — сказал он, — я ведь так, Катя... Я ведь к тебе ехал, не к кому-нибудь.

Он знал о ее делах. За четыре года она многое прошла. Но камешек, который кинул он когда-то, кинул-то он. И очень она, конечно, изменилась. Это Трубников видел. И может быть, лишь в походке угадывалась прежняя Катерина, да в плавном движении рук.

— А ты постарел, — сказала она. И потом говорила еще всякое, что говорят в таких случаях. А он слушал, кивал головой, ел овсяное печенье, улыбался, хмурился...

Однажды они возвращались вместе. Откуда, уж и не помню. Он — в своей прожженной шинели, она — в ватной стеганке. И маленькие ноги ее были в солдатских ботинках, так как в них было теплее. А была зима. Февраль. И мороз жёг. И они поравнялись с освещенным подъездом модного у непманов ресторана на Арбатской площади. И тогда Трубников по-мальчишечьи улыбнулся.

— А зайдем, посмотрим, как непманы веселятся?

И тогда Катерина согласно кивнула, хотя в кармане был

рубль. И она вскинула голову перед носом оторопевшего швейцара, и они вошли в душный ароматный вестибюль.

Вот уж была потеха, когда гардеробщик оглядывал их. Но он и слова не посмел сказать: а вдруг чекисты... Пусть в ватничке, пусть в шинелишке... Хозяева... И они пошли в зал. Это был большой зал. Ярко освещенный. Просто удивительно, где успели раздобыть всё это добро. Было еще рано. Музыка не играла. Почти все столики были пусты.

Они уселись за угловой столик. И молодой официант бросился к ним. И в его стремительности не было ничего, кроме холуйского презрения к плохо одетым. И они это поняли. Викентий Трубников хотел было что-то сказать, но Катерина мягко прикоснулась к нему ладонью. Тогда они заказали по кружке пива и горку соленых сушек.

— Пива не держим, — сказал холуй.

Трубников встал. Руки по швам. Как перед строем. И словно почувствовав недоброе в его движении, подскочил метр.

— Сейчас позвоню кое-куда, — раздельно сказал Трубников, постукивая пальцем по столу, — и всю вашу богадельню вместе с вами...

— Позвольте, товарищ, — сказал метр, — если что не так...

— Они пива просили, — сказал официант с испугом.

— Сейчас будет пиво, — сказал метр, поглядывая на выцветшие красные полосы на старой гимнастерке Трубникова, — для красного командира...

— Да поживей! — приказал комиссар.

Метр увел официанта. Через десять минут пиво было на столе. И соленые сушки.

Катерина смеялась грустно. Музыка не играла. Зал наполовину наполнился. Декольтированные дамы жались в противоположный угол. Да и кавалеры их тоже. И поглядывали оттуда на парочку полинялых комиссаров. Наконец, заиграла музыка. Но танцевать никто не шел.

— Пойдем отсюда, — сказала Катерина.

Но Викентий Трубников медленно пил пиво и всё ждал, когда же начнут танцевать. Потом он вдруг обратил внимание на руки жены. Они были красные, от морозов, что ли, или еще от чего-либо. И он сказал Катерине:

— Знаешь, есть мыло такое, от него руки белыми становятся. Я тебе достану...

Катерина снова засмеялась тихонечко, про себя почти.

— Пойдем, — сказал он решительно. И поставил пустую

кружку на стол. Так поставил, что в зале вздрогнули. Они долго одевались в гардеробе, как будто было что долго одевать. И через приоткрытую дверь смотрели, как жадно затанцевали застоявшиеся пары, как они прижимались животами друг к другу...

...Если бы эта маленькая детдомовка могла бы видеть то, что было у нее позади!.. Но она узнавала об этом впоследствии из рассказов и как всякую историю наделяла это услышанное материалом своей жизни и потому была к нему равнодушна.

А тут вошла Вера, вкрадчивая как всегда. Села рядом с Таней.

— Ты всё не знаешь, как тебе поступить?

— Это о чем?

— О нем.

И Таня вспомнила темную комнату, и шум полночных машин за окнами, и нерешительные шаги Жоры.

— Нет, — сказала она, — я думаю о новой квартире. — И усмехнулась, — не могу же я не думать о ней: ведь это — моя жизнь...

И она вспомнила, как Жора медленно подошел к ней и коснулся ее плеч в темноте...

— Прости меня, Таня, — сказал он.

— Что ты, что ты, — прошептала она, — что ты... Я сама...

— Будет лучше, если ты уйдешь, — тихо, но жестко сказал он, — уйдешь...

— Он тебя прогнал? — спросила Вера.

И Таня вспомнила, как начала быстро одеваться. В темноте. Хватала вещи холодными влажными ладонями.

— Разве ты мужчина... — приговаривала, одеваясь, — ну и мужчина... ничего себе мужчина... — потом крикнула в темноту, надеясь, что это прямо в лицо ему: — Ах, какой гордый!.. Какой положительный!.. Черт...

— Он так и сказал «уходи»? — спросила Вера.

И Таня вспомнила, как она шла наощупь к двери.

— Прости меня... Прости меня... — говорил он и шел за нею.

— А ты всё на трамвайчике катаешься? — спросила Таня, словно ничего не произошло.

— Представляю, каково тебе было, — сказала Вера.

— Мы так давно с тобой не видались, — сказала Таня.

— Теперь осень ранняя. Листопад. Вожатому трудно. В гла-

зах пестрота, рельс скользский... Ты, по-моему, не любишь его, Татьяна, а?

— Как бы мне фотографии свои получить от него... Ведь не идти же самой за ними.

— Погляди-ка, какие у меня ладони... — сказала Вера, — сплошные мозоли...

— ...Если письмо послать... — сказала Таня, — вдруг что-нибудь подумает, а?

— Интеллигентка я или нет? — спросила Вера, прищурившись, и выскользнула из комнаты.

И Таня вспомнила, как она бежала по лестнице вниз, на ходу просовывая руки в рукава кофточки.

ВЕРА И ДРУГИЕ

Трамвай тряс красными боками. Маленький подъем взять было невмоготу. Колеса прокручивались. Пассажиры дивились. Кондукторша поругивалась. Вагоновожатая смеялась. Потом, подрожав еще немного, трамвай вскарабкался на подъем и остановился.

Внизу лежала Трубная площадь.

— Возле Трубной подъем трудный, — сказала Вера. Она выглянула из кабины. Пассажиры молча вываливались на остановку. Они проходили мимо нее, делая вид, что и не такое видали.

— Думала — не вытянем, — крикнула Вера кондукторше.

— Надо не думать, а учиться, — сказал старик с первой скамьи, — поручают семиклассницам людей возить...

Вера выглядела старше своих лет в форменной помятой курточке. Но старику в его возрасте было, очевидно, уже всё равно: четырнадцать или двадцать...

Из-под беретки у Веры выглядывали светлые колючие волоски, и губы были растянуты в очаровательную улыбку, но старику, видимо, было неприятно видеть это улыбающееся лицо, и он отвернулся в окно.

Трамвай побежал по бульвару к Кировским воротам.

Пестрые осенние листья летели навстречу. Они радостно похлопывали по красным бокам трамвая, влетали в распахнутые окна, ложились устало на колени пассажирам.

Пассажиры ахали, подхватывали листья, пристраивали в петлички, дурачились, млели, разглаживали, поглядывали друг на друга улыбаясь. Было приятно как получить подарок.

И Вера смотрела на них, как на детей, резвящихся в свое удовольствие. И ей казалось, что они с сожалением покидают свои места, выходя на остановках. И она была горда за себя и за красную коробку трамвая, что они сумели потешить угрюмых пассажиров.

И Вера подумала о том, что она, как Бог, сидит на своем облаке. И всё, что происходит там, внизу, на земле, ей хорошо видно в маленькое ее зеркало. Вот так смотрит она, сама не видимая никем...

Потом, уже почти в конце пути, в трамвай вошел Жора. Вера узнала его сразу. И почему-то тут же подумала, что вот как хорошо, что ее смена подходит к концу...

А Жора стоял рядом с ее кабиной. И губы его были поджаты. И старенький черный свитер на нем был прежний. И он, видимо, разглядел ее и вспомнил, потому что просунул голову в кабину и сказал «здравствуйте».

— Я вас сразу узнал, — сказал Жора. — Потому и сел в этот вагон.

— Я счастлива, — сказала Вера и усмехнулась.

Потом они помолчали. Потом Вера спросила:

— А почему вы не приглашаете меня к себе домой?.. Посмотреть фотографии, например?..

Что было отвечать? Она может на смех поднять. Эта девица...

— Я теперь снова работаю, — сказал Жора. — Теперь я этим не занимаюсь.

— Не хватило терпения?

— Знаний, как говорят...

«Он кинооператор», вспомнила она. И снова усмехнулась.

— А почему бы вам не снять меня, например?

Жора ничего не ответил.

— Ну что, хорошо? — в первый день спросила соседка. — Хорошо тебе?.. Другие в институты там идут, замуж выходят... Хорошо тебе?.. В трамвай пошла...

— На трамвай, — поправила Вера.

— Как же не стыдно-то тебе! — сказала соседка.

— Хочу везу, хочу высажу, — усмехнулась Вера.

— Командовать больно любишь, — сказала соседка. — Эх ты!

— Все любят командовать, — сказала Вера. — Не я одна такая...

— Трамвай ползет как черепаха... Помните, такая песенка была? — спросил Жора.

— Я могу и быстрее... Только не говорите под руку.

— А я раньше думал, что вы — математик или зоолог...

— Вы так внимательны.

— Хорошо на трамвае? — спросил он.

Она засмеялась, досадливо повела плечом, не ответила.

Потом оказалось, что Жора остался в вагоне один. Трамвай шел в парк.

— Куда вы меня завезли? — спросил он.

— Я думала, что вам приятно, — усмехнулась Вера.

— Мне же работать!

— Езжайте в такси... Это так модно.

Она остановила вагон...

— Мы снимаем недалеко отсюда, где новые дома... Приходите посмотреть, — сказал Жора.

«И приду», подумала она.

Потом, уже сдав смену, она завернула за угол и пошла к новым домам.

Но из-за поворота вышел Жора.

— Аа, — сказал он, — сегодня мы кончили. Погода. — И он ткнул пальцем вверх.

Они стояли на углу, когда Жору окликнули. Вера увидела невысокого человека, который торопливо бежал к ним.

— Познакомьтесь, — сказал Жора. — Это товарищ Пузырьков, специалист по кино. Прислан поучать нас...

— Пузырьков, — выкрикнул человечек, протягивая руку Вере.

Вера подала ему два пальца.

— Вы делаешь совсем не то, Жора, — сказал Пузырьков. — Снимать надо как есть... Натура... Личность...

— Вот как? — удивился Жора. — А я хочу, как получше.

— Фокусы, — сказал Пузырьков.

Он всё время смотрел на Веру. Лицо его было не без приятности и не слишком круглое, каким оно показалось сначала. И мохнатые резкие брови красиво висели над глазами, и полные губы были красны, понаторевшие, видимо, в любовных переделках.

Он всё время смотрел на Веру. Она хмурилась.

— Ну ладно, Пузырьков, — сказал Жора, — идите налаживайте, учите... А мы будем учиться...

— Вечером «Арагви», — неожиданно сказал Пузырьков. — Угощаю. Табака́... — и к Вере: — Вы актриса?..

Она оглядела себя, свой будничный наряд, сказала сдержанно:

— Вагоновожатая...

— Ха-ха... Жора, что скажешь?

— Я трамвай вожу, — сказала Вера.

— Улыбка... зубы... манеры... — затараторил Пузырьков. — Меня не проведешь.

Он не мог стоять спокойно. Он подпрыгивал, дергал ногой, подмигивал загадочно.

— Ну ладно, ладно, — сказал Жора.

— Ладно, — сказал Пузырьков и захромал прочь, но тут же вернулся.

— Послушай, — сказал он уже Вере, — послушай, вы пойдете в «Арагви»?..

Вера посмотрела на Жору.

Жора смотрел в небо.

— Вы у него спроси, кто я такой, — кивнул Пузырьков на Жору.

— Ну ладно, — сказал Жора и уже без улыбки посмотрел на него.

— Аа, — сказал Пузырьков, — ваша дама... Понятно... Да вы будете сидеть с ней рядом... — и к Вере: — Пусть он скажет, какое я Люсе манто подарил!

— Ну ладно, ладно, — сказал Жора.

Пузырьков ускакал, всё время оборачиваясь, помахивая белой ладонью.

— Черт, — сказала Вера.

— Личность, — засмеялся Жора.

— А Таня уже переехала, — сказала Вера.

Жора посмотрел в небо.

— В их комнату пока никто не въехал. Всякий хлам валяется.

Она внимательно посмотрела на него: что скажет? Как вздрогнет?.. Но Жора молчал.

— Хотите пепелище посмотреть? — спросила она. — Приходите.

— А зачем?

— Хотите, вместе пойдем туда, сейчас?.. Проводите меня, кстати...

Она сказала всё это так просто... Глаза ее были полны слез. Губы чуть подрагивали. Некрасивое лицо ее было прекрасно.

— А вы не хотите поработать в кино? — спросил Жора.

— Хочу, — сказала она. — Всё хочу. Я жадная.

Она наклонилась. Сорвала травинку, зеленую с желтой каймой. Протянула ему.

— Это вам, — сказала вдохновенно. — Это я вам дарю.

Он ничего не понял. Он попытался улыбнуться. Он подумал: уж не смеется ли она над ним по своему обыкновению... Но ее глаза были полны слез.

— Нравится?

Он взял травинку. Она была похожа на колпачок клоуна, да еще покачивалась в его руке.

— Она волшебная, — сказала Вера. — Видите, как она покачивается. Это для вас...

А Жоре захотелось вдруг убежать, потому что он не знал, что ему делать... Ему захотелось укрыться где-нибудь и подумать об этом. И он смотрел на травинку, а она покачивалась в его руке, зеленая, с желтой каймой. А Вера стояла рядом и, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Ее некрасивое лицо было похоже на лицо пианиста, только что оторвавшего пальцы от клавиш...

...Они дошли пешком до Арбата. Прошли по переулкам. И всё это молча, заметьте. И у самого дома, в том самом старинном дворике, где Жора однажды придумал свою любовь, они остановились на минуту. И тут только Жора сообразил, что всю дорогу держал в руке травинку, зеленую с желтой каймой.

И Вера прошла чуть вперед, и он увидел, какая у нее плавная походка.

Они вошли в комнату, где жили Таня и ее муж. Сначала было темно. Потом глаза привыкли. В окно бил свет дворового фонаря.

Белели на полу обрывки бумаг. Старый комод потрескивал в углу, умирая. Столик на трех ножках старался не упасть.

Жора шагнул вперед.

— Не страшно? — спросила Вера и взяла его под руку.

Они медленно прошлись по комнате.

— Вы взволнованы? — спросила она насмешливо.

— Всякое пепелище волнует, — сказал Жора.

И ему показалось, что за комодом белеет что-то.

— Зажечь свет? — спросила Вера.

Он шагнул туда, протянув вперед обе руки, как слепой.

— Свет, — сказал он, почти крикнул.

Она бросилась к выключателю.

И когда позабытая запыленная лампочка засветилась мутно, Жора увидел, как Викентий Трубников словно прикрыл ладонью глаза, прячась от резкого света.

— Ну вот, — сказала Вера. — Позабыли.

— Я пойду, — сказал Жора.

— Хотите, я вас чаем напою?.. Вы ведь холостяк... Чай... и варенье.

Они сидели в маленькой комнате Веры. Пили чай. Викентий Трубников сидел рядом. Тоже прихлебывал.

— А где ваши родители? — спросил Жора.

— Они еще во время войны... погибли, — сказала Вера.

— Что это такое, — удивился Жора, — у всех родителей нет...

— Не у всех, — сказала Вера.

— То на войне, то еще где-нибудь...

Ситцевая шторка колыхалась на окне. Красные клубничины — по белому полю. Жора допил стакан и встал. И, наверное, потому, что комната была мала, он показался Вере особенно высоким и крепким. Но руки его уже не зависели от эффекта пространства. Они были сами по себе — крепкие и жилистые. И давно не стриженные волосы на шее переходили в косичку. И это было смешно у такого серьезного человека, как Жора.

Он стоял посередине комнаты и разводил руки, словно делал зарядку.

— Чего-то мне не хватает, — сказал он. — Хочется куда-то идти, слышать одобрение... Что-то мучает меня... Может быть, подраться? А вы хитрая. Вы делаете вид, что вам хорошо. Да?..

— Вида я не делаю. И мне не хорошо, — сказала Вера.

Вдруг словно кто-то скребнул в дверь. Вера умолкла. За дверью была тишина.

— Так Таня ко мне стучалась, — сказала она.

Викентий Трубников тоже вставил слово в общий глас. Он припомнил, как товарищи окружили его, когда он купил новое пальто, и как они смеялись над ним по-дружески, и как кто-то сказал:

— Не могу сказать, что ты, Трубников, обыватель... Но, что это нам угрожает, несомненно...

Почему?.. Из-за паршивого первого пальто?.. Первого в жизни бобрикового с собачьим мехом, подбитого черт знает чем?! Потому, что захотелось сменить шинель, пить ежедневно настоящий чай, читать газеты на белой бумаге и есть белый хлеб?.. В конце концов живот — вне классовых противоречий... Он хочет получать свое, кожа — свое, вообще тело...

— Ты красив в этом пальто!..

— Ты был красив в шинели!..

— Надо и пожить успеть...

— Жизнь есть борьба...

— Я люблю тебя, Катерина...

— Не хватает мне тебя... Не хватает...

...Вера выливала остатки чая. Жора ходил по комнате.

В дверь снова осторожно скребнулись.

— Мы снимаем кинокартину, — сказал Жора. — Жалкое банальное создание. Всё заранее известно. Но большинство довольно...

— Почему это вы мне говорите? Вы там скажите, боритесь...

— Не надо громких фраз.

— Вот так все молчат, а Пузырьковы действуют... Потом — «Арагви»...

— Маша Козлова, героиня нашего фильма, существо убогое... А актриса, которая играет ее, любит грильяж и туфли самой последней моды. Она очень счастлива, когда у нее есть туфли... такие. Она любит стоять перед вами, слегка покачиваясь на каблучках и медленно жевать грильяж...

Вера смеялась.

— ...Машу Козлову она терпеть не может, потому что та — дура и не носит таких туфель... Но эта по ночам плачет. Я знаю. Она плачет, сама не знает отчего. Что-то ее мучает... После каждой картины она ездит за границу с делегациями. Картины проваливаются. Она привозит оттуда керамику... Потом снова снимается... А настоящая Маша Козлова работает вагоновожатой...

— До поры, — сказала Вера, и брови у нее поднялись: кто-то опять скребнулся в дверь. Она вышла в коридор. Вернулась.

— А если бы хорошая роль? — спросил Жора.

— Хорошая?

— Хорошая...

— Хорошая?.. — усмехнулась Вера.

И Жоре уже не захотелось ее убеждать. Он и сам был насмешлив, но такое...

— ...Вы и меня считаете дурой? — спросила Вера. — Вы думаете, что я пошла на трамвай, потому что было некуда идти?.. Да?..

— Можно было бы и получше что-нибудь, — буркнул Жора. — Все ведь куда-нибудь стремятся... Получше...

— А я не хочу, как все!.. Трамвай мне хорош. Он лучше, чем роль Маши Козловой, у которой на лбу написано, что она дура!..

— Жизнь-то ведь коротка...

— Мое от меня не уйдет... Я терпеливая.

Вера снова прислушалась. Потом снова пошла к дверям.

— Это я, — сказал Жора. — Я ногой вот так касаюсь пола... А вам кажется...

Вера вернулась на место.

— Ну ладно, — засмеялся Жора и сказал Трубникову: — Пора, комиссар. Пошли. — И он взял портрет и вышел, почти не простившись.

...Теперь Жора мог заниматься своими фантазиями лишь в редкие, свободные от съемок минуты.

Теперь он поставил портрет комиссара на самом видном месте, а рядом с ним — портрет девочки на пепелище. Жизнь сложилась так, что они не знали друг друга, почти не знали. А Жора из своего прекрасного далека мог обозревать их обоих и раздумывать над их судьбами.

Собственная судьба его не очень занимала, хотя он и ее пытался объяснить себе самому.

Когда известный режиссер похвалил его работу в кино, Жора спросил наивно:

— Если это хорошо, почему меня берут только в плохие картины?

— Потому что каждый режиссер собирается снять лучшую, — сказал собеседник.

И Жора устыдился собственной слепоты.

Веру стали беспрерывно приглашать на киностудию для проб в новые фильмы.

Жора пожимал плечами: это не его рук дело.

Пузырьков, когда появлялся, спрашивал:

— Как ваша дама поживает?.. Она не хочет сняться?..

Тогда Жора понял, кто печется о судьбе Веры.

— Зря вы это, — сказал он Пузырькову. — Ей это не нужно.

— Нет, нужно, — упрямо сказал Пузырьков. — Она ваша дама, да?.. Вы ее оберегаешь?.. От меня?.. От друга?..

Жора засмеялся Пузырькову в лицо.

— Мы ни разу не были с вами в «Арагви», — сказал Пузырьков.

— Пригласите лучше Люсю, — посоветовал Жора.

— Пойдем... Вы не пожалеешь...

— Я не пью, — сказал Жора.

— Кичишься! — крикнул Пузырьков шепотом.

— Я ведь не девушка, — сказал Жора.

— Почему я не нравлюсь женщинам, которые мне нравятся? — спросил Пузырьков зловеще. Но Жора не ответил. А Пузырь-

ков сказал: — А помнишь, как вместе работали? Было спокойно... Искусство... — и совсем вполголоса: — Ничего не знаю, что делать... Вы понял?.. Зачем я здесь?..

— Возвращайтесь обратно, — сказал Жора. — Возвращайтесь, пока не поздно.

— Номенклатура, — сказал Пузырьков и засеменил прочь.

И вот Жора расставил фотографии. Главные. Те, с которых ему следовало начинать. Они уже были привычны ему. Трубников жил в его доме полноправно. И по утрам входил в комнату, и из-под мохнатого полотенца:

— Когда б я знал!.. Когда б я ведал!..

А девочка со злым старушечьим лицом молчала. И Жоре иногда казалось, что она молча и напряженно следит за тем, как он хлеб нарезает, как маслом мажет, как отправляет кусочки в рот.

А где были живые?.. Люди с теплыми душами, возле которых можно согреться?.. Где они?..

И вновь, как в старые времена, не постучавшись, вошел Потехин. И кивнул как старому знакомцу, и сел.

— Ну что? — спросил Жора.

Потехин не был пьян. Он был трезв как стеклышко. Но что-то угнетало его, видимо. Слова, как бабочки ночные, кружились на его губах. И ни одно из них не слетало.

— Ну что? — спросил Жора. — Как Таня?

О чем можно было спрашивать? И почему он пришел?

— Вам, конечно, не понять, что человек может всем пренебречь, всем, — сказал Жора, — кроме главного.

— Послушай, — сказал Потехин, — она меня не любит, и тебя она не любит. Она хочет жить. Я знал об этом. Я думал — вытерплю...

— Ну?

— Не могу...

— А мне что?

— Ты понять должен. Ты ведь ее испортил.

«Ударить?..»

— Это, конечно, не совсем по-мужски... Но ведь ты затесался, и она уходит...

— Куда?!

— Да не куда... Просто так, уходит беспрерывно... просто так... Я уж просил... Знаешь, как я просил?..

«Что он хочет выпросить для себя?.. Почему не кричит, не топает ногами?..»

— Ты бы полз на коленях за ней! Ты бы хоть закричал! Ну что ты плачешь?..

— А я и полз, — неожиданно робко и словно смущаясь сказал Потехин и провел ладонью по коленкам (пыль, что ли, стряхнул?).

— Ну?

— ...ей-Богу, полз. Триста метров... по Кривоарбатскому...

— Пьян был, что ли?

— Что ты! Я ведь не пью. Просто так, не в себе. От отчаяния...

— Ну ладно, — сказал Жора жестко, — мне работать надо. Мне некогда тут с тобой.

Через минуту ему уже казалось, что Потехина вовсе и не было в этой комнате. Только продавленный старый стул поскрипывал недоброжелательно. А Викентий Трубников смотрел в окно и думал о своем. Это свое ведь тоже было того же сорта. Всё ведь этот проклятый вопрос. Вечный... Ну, ладно. Он смотрел куда-то туда, в тридцатые годы, в тот самый туман, в котором покачивался дорогóй его сердцу силуэт Катерины. И он писал ей:

«...а здесь мороз, и тайга, и медведи. Мы живем пока что в бараках. Но уже в отдалении строятся двухэтажные корпуса стандартных домов. И цеха будущие обрели формы... Всякий раз спрашиваю: зачем я пишу тебе, а всё равно пишу. Какая ты стала за эти семь лет?.. Когда остаюсь наедине с собой, удивляюсь: какие мы странные! Чего нам надо, людям?!. А когда в работе, удивляться некогда... Ведь это смешно: два любящих друг друга человека не живут вместе, потому что точки зрения у них на предметы — разные. А может быть, это не смешно... Тут кругом — сосны да пихты. А ими всё равно любви не связать. А как бы много успели люди, если бы не приходилось личные трагедии свои гасить!.. И кто это выдумал?.. Вчера в меня стреляли. Три раза. Ночью. Когда возвращался с собрания... Я опять о том же: как быть с кровью, Катя? Раз уж на ней замешано, без нее не обойтись... А? Теперь могла быть моя кровь. Впрочем, ты человек мягкий. Тебя не переубедить... Одному я удивляюсь: как это ты, тихоня, успела высшее образование?.. Когда?.. Вот бы тебе здесь понравилось! А мой партийный заместитель, товарищ Коля Судаков, удивляется, что я кресло в кабинете не держу. Он говорит: если бы я был, обязательно поставил бы. Пусть они трепещут... А кто «они» — не сказал. Должен тебе сознаться, что я, наверное, постарел: что-то мне в тепле приятно стало, мягкого хочется... Дома в валенках хожу, на огонь смотрю долго. Хочется романчик

про любовь почитать... Ты не смейся, пожалуйста. Это я только тебе... Если сможешь когда-нибудь — пришли мне пачку настоящего чаю. Морковный надоел. Настоящего хочется...»

Потом он еще писал кое-какие слова. Потом отправил письмо. Потом он переобулся. Натянул сапоги. Пошел по уральской поздней осени в бобриковом пальто. Пришел в партком. Там жарко горели печки. Товарищ Коля Судаков сказал грустно:

— Там у них, в Москве, паровое отопление работает... Театры... балерины...

— Смеешься? — спросил Трубников.

— Смеюсь, — грустно сказал Коля Судаков. — Жизнь проходит... Когда я за Петлюрой гонялся, я думал, всё не так будет... Я глупый тогда был.

— Машины не было? — спросил Трубников. Ему надоело уже говорить о несовпадении юношеских предположений и будущего. Всё проще и суровее. Он уже это понял. И теперь предстояло ехать в тайгу и осматривать места будущего строительства. И он вытащил из ящика стола браунинг и сунул в карман брюк.

— Чудом ты вчера спасся, — сказал Судаков. — Это подкулачники.

Трубников ехал в машине, и в голове его вертелось сказанное некогда Судаковым там, в Москве, наверху: «Если бы я был вместо Трубникова, я бы из строительства конфетку сделал... Я когда за Петлюрой гонялся, я уже тогда это себе представлял... Я видел, какая земля наша будет!..»

— Ну как, — спросил Трубников шофера, — осилим мы эту тайгу?

— Вам видней, — сказал шофер. А потом спросил: — Говорят, хлебные карточки отменять будут?.. Правда?.. Надоело вполовину-то.

...— Да, — сказал сам себе Жора, — не мешало бы съездить в тайгу.

И ему вдруг захотелось мучительно: сбросить с себя черный свитер и остричься по-весеннему, и всё такое дорогое — прочь, прочь привычное, теплое... Как будто только сейчас шар земной повернулся к нему своим неизвестным боком. А может быть, это простая ненормальность?!. «Все вы чего-то мечетесь... Неспокойно с вами как-то...» — вспомнил он. А она?.. О, как мучителен и постоянен, как долг, этот поиск, как долг. И расплачиваться можно только нервами, только болью, только самим собой! Даже Пузырьков ищет свежей травки. Солому не хочет. Кто хочет?.. Даже Пузырьков... Даже Птичкина... Только у нее не хватает духу: ее

кривым ружьем испугали однажды... Она себя боится... Даже Сытов... А Вера?.. Она посмеивается, а в глазах-то у нее — слезы. Не от лука, не от обиды, не по наущению. Все ищут. И никто не знает — что. А все равно ищут. И он, Жора, ищет. И Трубников искал. И Катерина...

И она тогда шла по Москве, и комкала в руке письмо Трубникова, и плакала, и не пыталась этого скрыть... Слезы, они как первый гром, за которым — сразу легче дышать.

— Я понимаю, — сказал ее спутник, — я понимаю, как это больно, но ты должна понять, что есть что-то выше для человека...

— На земле живут люди, — сказала тогда Катерина вызывающе, — они живут по законам жизни... Для чего вы пытаетесь это нарушить?.. Они ведь все для себя делают, и все — для них... А вы?..

Но слезы не облегчили ее.

АНДРЕЙ СЫТОВ И ДРУГИЕ

— ...А потом, — сказала Вера, — они съехались. Кажется, так. Но это уже после письма, после этого письма... Уже через три года. Катерина приехала туда, на строительство. Кажется, так... Таня мне рассказывала, но я уже не помню... Она и сама-то понаслышке знает это всё... И ее это не очень интересует... Чужое ей это всё... А у них продолжалось... Потом Таня родилась... Они жили уже там, на Урале. Я ведь так ничего не знаю. Только несколько писем старых было у Тани. Она их берегла сначала — потом дала мне. «На, почитай». Потом — не знаю...

Жора взглянул в глаза девочки, стоящей на пепелище. Она-то должна знать продолжение. Она-то должна помнить. И вдруг Жора заметил, что злое старушечье выражение исчезло с ее лица. Она тянула худенькую шейку куда-то: наверное, на дребезжание звонка. Звонок был тревожным. И отец, которого она не помнила, торопливо одевался в передней, улыбаясь перекошенным ртом. Потом он ушел вместе с компанией молчаливых вежливых людей. Но этого она не помнила. Это отложилось где-то в глубинах ее души, чтобы через много лет проявиться, как старинная фотопленка.

И Жора видел, как внимательны были глаза девочки, словно она вслушивалась в себя. И голову чуть склонила набок. И оттуда, из глубины, вдруг раздалось:

— Ну вот, Трубникова... Расскажите, как вы помогали мужу...

— В чем? — спросила Катерина.

— В организации вредительства на стройке...

Катерина рассмеялась так, словно за ней неудачно ухаживали.

— Вы в своем уме? — спросила она смеясь.

Тот, что сидел перед ней, был русоволос, гладко причесан на пробор. Глаза у него были голубые. И походил он на школьника, у которого ломается голос.

— Вы ведь читали его письма, — сказала Катерина, еще не веря молодому человеку.

— Мы много чего читали, — сказал молодой человек.

А Катерина подумала, что если эта чепуха будет продолжаться до вечера, а может быть, и до утра, то придется позвонить кому-нибудь, чтобы присмотрели за Таней...

— Мне нужно позвонить, — сказала она, — у меня дочь маленькая. У соседей осталась...

Он усмехнулся.

— Где у вас тут телефон? — спросила она.

— Так я жду, Трубникова.

— Чего?

— Когда вы расскажете о своей деятельности...

— Мне нужно позвонить...

Она подумала, что позвонит сначала о дочке, а потом начальнику НКВД об этом вот молоденьком прохвосте, и пусть ему всыплют.

— Ну? — сказал он нетерпеливо.

И чепуха потянулась сквозь дни, месяцы, годы...

...— Теперь ты понял? — спросил Жора.

— Понял, — сказал Сытов из своей комнаты. — У нас на заводе тоже один с голубыми глазами есть. Он на Октябрьскую выпил однажды и мне говорит по-свойски: ты, мол, бежать не вздумай, всё равно поймаю... А благодаря того, что собака всегда след возьмет. А я ему говорю: чего?! А он говорит: ничего, мол, это я так... А я говорю: ты, голубь, не туда летишь... Он мне, значит, потом всё вне очереди путевку всучивал... А я говорю: пусть сначала Степанов едет, его черед...

Всё становится дорогим, во что вложен труд. Среди удач и неудач только пот, кровь, вдохновение — главная ценность, а то, что ими освящено — главная любовь, а те, кому это дорого — главные друзья. Пусть это дом, или иголка, или кисет фронто-

вой, или первая борозда, или капля воды, которую добыли для умирающего от жажды...

— Давай твою пол-литровку, Сытов, — сказал Жора. — Давай мы ее разопьем. Пусть и комиссар с нами посидит...

— Забросил ты искусство, Жора, — сказал Сытов после первой. — Как у тебя вся история на стене хорошо висела.

— Давай еще по одной, — сказал Жора.

— А у меня любовь, — вдруг сказал Сытов. — Сменщица моя у станка. Поет — заплачешь... Дети у нас будут...

Жора молчал.

— Ты не боишься, что дети у меня будут?

— А что мне бояться?

— Шум, — сказал Сытов. Потом он достал из кармана фотографию. Женщина молодая в скверике на скамейке. В белом платье. Жмурится от солнца.

Сытов сказал:

— Сидит, как белый лебедь... Я картину такую видел. И крылья откинула — руки, стало быть. Мне женщина постепенно нравится. Сначала нравится, а после дух захватывает, а благодаря того, что я терпение имею и уважение к ее мечтам...

И тут Жора улыбнулся.

— Улыбочку твою я понимаю, что слаб ты, — сказал Сытов, не смущаясь. — Я тебе даже вот как скажу: я уже через месяц женюсь... Я ее сюда привезу, потому что она нам обоим стряпать будет... Это чтоб тебе на зависть... — он засмеялся. — Ты думаешь, мне всё просто: харчит там, одежда, или, скажем, цирк?..

— Сытов, — сказал Жора, — можешь ли ты понять, что не все друг на друга похожи?

— Это я могу, — сказал Сытов. — Только в бане, наверное, когда пару много, а все голые... — и, пожевав сала: — Я тебя к этой, к длинноногой твоей, притереть хотел, а она чего желает?.. Ей покой нужен. Она выключается... Ты на нее сердишься?.. А я — нет. А благодаря того, что каждому — свое. Она намаялась.

— Глупости ты всё говоришь, — сказал Жора, и встал, и покачнулся. — Хочешь, я стекло выбью?

— Убьешь кого-нибудь по голове, — спокойно сказал Сытов, — это мы тоже умеем... Делов-то... Сядь-ка...

— Ты ничего не понимаешь, — сказал Жора хрипло. — Я не любил ее. Я не ее любил, а вот девочку эту, одинокую эту... Эх ты, Сытов! Я судьбу ее любил... Хочешь, я стекло выбью?

— Делов-то — стекло... А зачем спал с нею?

— Да она ушла. Ушла! — крикнул Жора, размахивая ру-

ками. — Она не осталась у меня. А потому что я не захотел, чтобы она осталась... Ну хочешь, я стекло выбью?..

— А выбей, — сказал Сытов.

И Жора сел на свое место. И засмеялся.

— Выпил на копейку, а куражишься на рупь... — сказал Сытов, — а благодаря того, что ты понять себя не можешь... Кто ты и зачем ты. А я завтра на Клязьму поеду с гитарой. Сам себе скажу чего-нибудь.

— Что же это ты скажешь?

И Сытов заглянул в синие насмешливые Жорины глаза, но своих не отвел. Глаза у Жоры были похожи на Клязьму в солнечный день.

— Чудно́й ты, — сказал Сытов влюбленно, — вот за это ты мне хорош, понял? Я почему постные щи не люблю?.. Понял?.. А Пузырьков твой — жулик.

— Он не жулик, — сказал Жора. — Он продукт.

— Этого я не понимаю, — сказал Сытов. — Жулик — и всё...

Жора засмеялся.

— Послушай, — сказал Сытов, — ты бы плюнул на это. Какие там вопросы?.. Чего ты всё куражишься?.. Мне бы твою голову!..

— Ах ты Сытов, Сытов, — сказал Жора.

— Вот эта, которая трамваи-то гоняет, она ведь тебя не ищет. Она сама по себе... Она строгая...

— Все ищут, Сытов.

— Одни ищут, другие ждут... Разница.

— Ждут, что достанется?

— Зачем?.. Чего им нужно, того и ждут.

— А если не дождутся?

— А и хрен с ним... Чего дешевить-то? Себе дороже... Зато такую любить можно. Не жалеть, значит, а любить... А ты говоришь.

— Ах ты Сытов!..

— Вот тебе и Сытов... Хотел я в шахматы играть научиться... Ладно, иду в кружок. Учусь... Ладно. С трех до пяти... по вторникам. И стало мне, понимаешь, противно... Почему по вторникам? Ну почему? Почему с трех до пяти?.. Почему обязательно?..

— Ах ты Сытов!..

А в это время Вера встретила Таню у самого входа в метро.

— Ну что ты, как?..

— Живу...

— Хорошо тебе?

— Прекрасно.

— Квартира хорошая?

— Прекрасная.

— Не то что раньше, да?.. Лицо у тебя усталое какое-то...

— Устанешь тут...

— Может быть, что не так?..

— Я же тебе говорю: прекрасно. Мало ли что бывает? Ты заходи ко мне... Только днем... Ты ведь знаешь, как он к тебе относится.

— Может быть, мне лучше не заходить?

— Не знаю... Как хочешь...

— Уходи куда-нибудь. Зачем тебе тюфяк этот?

— Это он — тюфяк?

— Он к Жоре приходил, плакался. Говорил, что на коленях за тобой полз...

— А правда, полз...

— Ну, как знаешь.

— Да уж как-нибудь...

— Прощай...

— Прощай.

«Выше головы не прыгнешь», подумала Таня, входя в вагон метро.

«Каждому свое, подумала Вера. Ах, какая это глупость!» — и она вскочила в отходивший троллейбус.

А в это время Потехин поставил точку над «и». То есть, он действительно поставил точку под собственным приговором. Он швырнул записку на центр круглого обеденного стола и стал прощаться с уже почти обжитой квадратурой. Нет-нет, он не выстрелил в себя, не накинул петлю на шею... Он не из этих... Он просто осмотрел всё, и, может быть, будь у него побольше юмора, он не преминул бы церемонно раскланяться со всем, что покидал, и даже с самим собой, но с юмором у него было не всё в порядке.

И он, уходя, все-таки подумал о том, что сделал всё, что мог, и что просто остальное не в его власти, потому что человеку дается ровно столько, сколько он может, и иногда — лишь чуть больше.

Все женщины, которые попадались ему навстречу, казались счастливыми. Фонари светили ярче обычного. Троллейбусы были переполнены. Но мужчины не просто шли, а уходили. Так ему казалось. И все-таки в мире было счастье, только оно лежало не поровну на осенней земле.

«Впрочем, подумал Потехин, эта шутка для каждого разная. Мое счастье кому-то тесно. А чье-то — не для меня... Чего же мы диктуем и давим друг друга?..»

...— Ах ты, Сытов, — сказал Жора и засмеялся.

Но Сытов ушел к себе. Он возился там с чем-то. Он говорил сам с собой вполголоса. О чем-то.

...А Таня, случайно забежав, словно ничего и не случилось, продолжала рассказывать главы своей судьбы...

— И тут я попала в детдом... И началось:

«Я хочу спать...»

«Нельзя».

«А я хочу!»

«Отбоя не было. Нельзя...»

«Купите мне вон такую куклу...»

«Бери, что дают».

«Ладно, погодите, когда вырасту, куплю себе всех кукол... Спать буду всё время!.. Я хочу есть...»

«Ты ведь уже все съела... Сколько можно?..»

«Ладно, погодите, я все-таки когда-нибудь наемся... всё себе куплю: масло, конфеты, и много белых булок, и сахару!.. Намажу белую булку маслом вот так, густо, потом в масле ложкой сделаю вмятины и полью свежим медом, зажмурюсь и откушу, и медленно буду жевать...»

«Чудовище... Сказала бы спасибо».

«Я хочу учиться дальше... Потом — в институт».

«Пойдешь в торговую школу... У нас такой порядок».

«А если я все-таки пойду в восьмой класс?»

«А кто тебя кормить будет?»

«Но почему же другие?!»

«После узнаешь».

«Ладно, погодите, вернется мой отец».

«Бедная девочка... Может, послать ее в среднюю школу в виде исключения?»

«Инструкция...»

«Мне холодно...»

«А другим не холодно?..»

«Ладно, погодите, когда буду большая, заимею комнату свою, большую печь... Будет у меня жара... Все окна одеялами завешу... Буду на печке спать, в поту... И валенки у меня будут без дырок...»

Детдом остался позади. Но дух его меня сопровождал. Это

ведь был особый детдом. Для детей, родители которых не просто умерли или на войне погибли... Я как в тумане была...

«Скоро ты будешь продавщицей...»

«Спасибо...»

«Ну, довольна?»

«Спасибо...»

Я подала заявление в комсомол. Во время собрания вдруг заходит директор.

— Приняли?

— Приняли! — все кричат.

— Ну-ну... А рассказала Таня, где ее родители?..

— А причем это?

— Не мешало бы еще разок послушать... В протокол...

— Да мы все знаем!..

— А все-таки не мешало бы...

Я плачу. Все молчат. Помучили меня потом, но приняли... Радости не было. Я торгую галантереей. Я хорошая продавщица. Потом ночью магазин грабят. Меня вызывают к следователю.

— А где ваши родители?

— Будто вы и не знаете...

— Где?

— А причем мои родители?

— Видно птичку, — говорит следователь. — Может быть, вы за них мстите?..

— Да что это вы!

— Яблочко от яблоньки...

На мое счастье раскрыли жуликов, и пошла я, куда глаза... Потом — замужество... Потом вернулась мать... Чужая женщина... вернулась. Стали привыкать, оттаивать. Я уже отъелась, одевалась, но мало... мало... мало мне этого, я еще хочу, я не всё еще получила. Мало, мало... Я читаю, гуляю, всё себе позволяю... Мало, мало... Потом — ты...

— Ты так об этом говоришь, словно оправдываешься в чем-то, — сказал Жора.

— А ты все-таки едешь?

— Не еду, а ухожу.

— Тебе это нужно?

— Просто необходимо.

— И мне, наверное, тоже. Только я не могу...

— Тебе не нужно. Это мне нужно, а тебе — нет... Каждому ведь — свое...

— А мне?..

— Ну вот, тебе... А тебе, может быть, для этого нужно съесть пригоршню клюквы... Почем мне знать? А вот я должен пойти и размяться, — Жора засмеялся. — А другому, может быть, нужно стать дровосеком...

— У тебя специальность такая хорошая. Оператор... Кино... Живи в свое удовольствие...

Жора думал, что он еще возьмет, кроме белья... Надо как можно меньше. Только, может быть, фотографии, что давно сняты со стены, руки, как единственное воспоминание о наивности и честных ошибках...

— Потехин месяц назад ушел от меня. Наверное, тоже понял...

— Где же он?

— Вернулся.

— Ты рада?

— А мне всё равно... Впрочем, одной, конечно, хуже...

...Еще он возьмет с собой кусок хорошего мыла, на первое время...

— Ты будешь там научным работником?

— Что ты!.. Фотограф экспедиции...

— Это надолго?

— На год. Впрочем, не знаю.

...Нет, он не возьмет с собой трех сорочек... Только одну. И он будет стирать ее и надевать снова. А потом купит новую...

— Ну, прощай.

— Ты молодец, что зашла. Я сначала разволновался, когда тебя увидел...

— Может быть, ты останешься?.. Что-то есть детское в этом предприятии...

— Вот и чудно!.. Значит, это мне действительно надо.

— Ну, прощай.

— Это мне действительно надо...

— Может быть, писать тебе?

— Ну что ж, пиши...

— Ну, прощай...

— Впрочем, не надо... Я ведь не отвечу...

— Ты хоть сам напиши два слова.

— Не надо, не надо...

— Ну, прощай...

— Будь счастлива.

И он долго слышал, как она медленно спускалась по лестнице. «Так, так, так...» стучали ее каблуки. «А как она была одета?» подумал он, но не вспомнил. Его руки сами потянулись к рюкзаку. Он пошарил в глубине его. Выбрал то, что было отвергнуто. Потом взял чемоданчик. Стал торопливо укладывать туда фотографии. И посмеивался при этом. И еще он посмеивался, когда вспомнил растерянное лицо руководителя экспедиции. Жору оформили кинооператором по научной съемке. А через неделю, когда всё уже было на мази:

— Нам сняли должность оператора.

— Ну и что же?

Руководитель похлопывал себя по бокам от смущения.

— Ну и что же, что сняли? — спросил Жора.

— Вы ведь уже ушли со студии?

— Ушел.

Смущение выплескивалось через край.

— Может быть, вы согласились бы — фотографом?

— Фотографом?

— Да. К сожалению, простым фотографом. Ставка ниже...

— Да черт с ней!.. Простите. Мне всё равно.

Руки руководителя взлетели вверх в радостном изумлении.

— Послушайте, — сказал он Жоре несколько позже, — я думал, что вы на меня в суд подадите...

— Мне всё равно.

Потом Жора услышал, как помощник руководителя сказал своему шефу:

— Может быть, он просто никудышный специалист? Почему он так спокойно согласился?..

Но Жора не стал спорить и разубеждать заместителя. Всё это было смешно. И необычно. Дух захватывало...

Теперь он начнет всё снова. Всё снова. Ему некогда разубеждать остальных. Ему некогда сглаживать их сомнения. Пусть каждый идет, как ему предначертано, если он, конечно, настоящий человек. И вот тогда, когда он почувствует себя способным творить чудеса, пусть он и сотворит свое чудо, даже самое маленькое, даже самое пустяковое, ибо пустяковых чудес все-таки не бывает. И Викентий Трубников смотрел прямо в глаза Жоре. Он смотрел немного грустно, но твердо. Он смотрел так, как, наверное, смотрел тогда, там, перед своим последним шагом.

— ...Ух, Жора, — сказал Сытов, прощаясь, — крепкий ты, и всё в тебе живое... Книги я твои буду читать, благодаря того, что

у меня нужда... Ну, Жорка!.. Кто это Америку-то открыл?.. Вот давай... Теперь давай... Жора... Потом, когда ты все про людей сфотографируешь, мы в книгу отзывов запишем свое мнение... И чтобы вся история, и моя личная, благодаря того, что я тоже продукт, и, конечно, без подписи, была бы всем, чтобы аж дух спирало бы!.. Ну, Жора...

Жора в последний раз оглядел комнату, где он неоднократно спотыкался за свои тридцать лет. Это была все-таки большая комната, если учесть, какой разбег взял он однажды. И это была все-таки светлая комната, потому что из нее вырвались однажды какие-то пестрые краски, чтобы мучать, будоражить, звать и не даваться... И это был старый дом, и никто не смог бы гарантировать его долговечности, да это вовсе и не требовалось. Он уже успел сотворить свое маленькое чудо, может быть, даже и не понятное другим.

Возле вагона, в котором он должен был ехать, Жора встретил руководителя экспедиции. Тот стоял, и бил себя по бокам обеими руками, и топтался неуклюже.

— Представьте, — сказал он, задыхаясь, — в последнюю минуту нам отказали в ставке фотографа!..

— Ну и что же? — сказал Жора и счел нужным положить свою ладонь на плечо этому человеку.

— Боже мой, что мне делать с вами?!.

— Ну возьмите меня чернорабочим, — посоветовал Жора. — Разве нельзя меня чернорабочим?.. Я ведь уже приготовился... ехать...

— И вы согласитесь?!

И он поскакал вдоль вагонов к своему заму, который шел навстречу.

И Жора не слышал, как зам сказал руководителю:

— Там рядом граница... Почему это ему всё равно? Ведь он будет получать еще меньше!.. Может быть, у него свои планы?..

И они вместе посмотрели на Жору. Он стоял у дверей вагона рядом с какими-то людьми и смотрел на вокзал. Он был в черном свитере, в черных брюках, в лыжных ботинках. В руках у него были рюкзак и небольшой чемоданчик... И даже отсюда было видно, какие у него синие глаза...

— Ах, да что вы в самом деле!.. — сказал руководитель экспедиции. — Граница, граница...

— Ну смотрите, — нехорошо как-то предупредил зам.

— Ах, да что вы в самом деле, — сказал руководитель. — Просто неудачная любовь...

— Послушайте, — сказал он Жоре, — значит, вы в самом деле?..

— Послушайте, — сказал Жора, — я не на должность еду, я просто еду... Вы понимаете?.. Еду. Я не мальчишка взбалмошный, не искатель приключений, я не от несчастной любви... Вы понимаете?..

И в это время он увидел, как по перрону семенит Пузырьков.

— Эгей! — крикнул Жора.

И Пузырьков подбежал к нему по-своему, слегка подпрыгивая, и пожал Жоре руку.

— Опоздал, — сказал он, — сейчас друга встретил... Когда мы Днепр форсировали...

И он увидел, как улыбнулся Жора.

— Вы напрасно смеетесь! — сказал он обиженно. — Вы просто меня не понял...

— Вы разве были на фронте?

— Был, — сказал Пузырьков, — был. На втором Украинском... Тогда еще... Марш на Запад... История...

— Вы что, в обозе там?..

— Жора, вы чудак, — сказал Пузырьков. — Вы меня не в том ракурсе себе представил... Жаль, что мы в «Арагви» не были...

— И раны были? — спросил Жора.

Пузырьков посмотрел на него досадливо, затем торопливо вздернул штанину...

— Ах! — воскликнула какая-то женщина.

— Ну надо же! — сказала девушка, стоящая с ними рядом, — форменный псих...

И Жора увидел вместо правого колена красно-синий нарост и тут же понял, почему так странно, пританцовывая, двигался Пузырьков по земле...

— Он со мной в разведку ходил, — сказал Пузырьков, — потом меня на спине волочил, когда я подорвался... — и он кивнул в сторону вокзала. — Встретились.

Пузырьков взглянул на Жору, и что-то жалобное скользнуло по его круглому лицу. А девушка, стоящая рядом, смотрела на Пузырькова с любопытством и с недоумением.

— Значит, вперед? — спросил Пузырьков.

— Да.

— Туда, в тайгу?

— Да.

Потом молчание.

— Вещей мало.

«Разве это мало?» — подумал Жора.

— Это не мало... Вот здесь те фотографии...

— Ого!.. И я тут есть?.. Мои руки?..

Жора открыл чемоданчик. Поставил его на асфальт. Сунул Пузырькову заветную пачку.

И тот сразу нашел свое. И Жора увидел, как вдруг исказилось его лицо.

— Какие руки были! — сказал Пузырьков и потряс фотографией. — Какие руки были золотые, — сказал он и заплакал.

«Это уже ни на что не годится...» — подумал Жора и вдруг увидел, как плачет Пузырьков.

— Какие руки... — сказал Пузырьков, размазывая слезы по щекам.

«Наверное, есть чего плакать, подумал Жора, да, наверное...»

— Меня шатает буря, — сказал Пузырьков, успокоившись, — вы понял?.. Буря. Эта буря называется: «чепуха на постном масле». Вы понял?.. Я хочу быть администратором в кино. Никаких семечек и шелухи... Культура. Вы понял?.. Свежие газеты, лучшие кинокартины... Номенклатура... Выдумали, монументы!.. Какие руки были!..

И тут подошло время садиться по вагонам.

И уже из раскрытого окна Жора смотрел на платформу. И поезд медленно отходил. И Пузырьков медленно шел следом, размахивая пачкой фотографий.

«Хорошо, что я и это оставил», подумал Жора.

И тут Пузырьков, словно опомнившись, закричал и стал торопливо засовывать фотографии в чемоданчик...

— Эй, эй! — кричал он и смешно бежал следом, припадая на правую ногу.

Но Жора покачал ему рукой, что обозначало «не надо», либо — «прощай...»

И еще не потеряв из виду пританцовывающей фигурки Пузырькова, он словно заново предстал перед старым домом в Арбатском переулке, где он побывал за два часа до отъезда. Там было шумно и весело. Весело, как на ярмарке. И грудились вокруг нарядно одетые люди с грустными выражениями на лицах. И подъемный кран торчал перед стеной дома, словно примериваясь...

Все жители дома, бывшие жители, собрались тут же, только Тани не было...

Наконец подъемный кран качнул стрелу, и чугунная труба ударила о стену. И тотчас дом вскрикнул. Но остался стоять. И пожилая женщина рядом с Жорой прикрякнула даже и вытянула шею... Но дом продолжал стоять...

— А ну, еще разик! — крикнула эта женщина и еще сильнее вытянула шею.

— Не жалко? — спросил Жора.

— Чего его жалеть?..

И кран ударил снова. И облако пыли вырвалось... Штукатурка, бревна, обрывки обоев — всё перемещалось.

— Давай! — крикнула женщина.

Тумба тупо проламывала дому ребра. Потом стена рухнула. Кто-то закричал, глухо и странно. И запахло сыростью и духами.

И снова удар.

И снова — крик, и еще крики, далекие и неизвестно чьи.

Пахло духами. Дешевыми духами, что продаются в зеленых бутылочках с яркими этикетками. Сладко пахло духами. А дом оседал, скрипел, вскрикивал. Какие-то тени метались в облаках пыли, воздевая белые руки.

Пахло духами.

Перекатившись через голову, словно клоун в цирке, рухнула на зелень двора деревянная лестница из бывшего подъезда... Рухнула и застыла. Но скрип ее еще долго стоял в ушах, как много лет. Особенно сильно она скрипела под чужими ногами: они ведь не знали, куда ступать, чтоб меньше было шума. Теперь она успокоилась. И снова пахло духами, как озоном после грозы...

— Так его! — кричала женщина и убирала со лба пряди волос, чтобы лучше видеть. — Чего его жалеть!..

И дом разваливался. Но всё сильнее пахло духами. И этот запах был активнее запаха пыли, старости, пота, подсолнечного масла.

Тепло, привычное и вековое, постепенно поднималось к небу. Кирпичи и бревна холодели. Бульдозер сгреб их в одну кучу. Они лежали опять все вместе, рядом, но дома уже не было.

Пожилая женщина плакала. Она уже не кричала восторженных слов...

Дома не было. Только по-прежнему сильно пахло духами, что продаются в зеленых бутылках с яркими этикетками.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Ну вот. Я рассказал об этих людях то, что знал. Может быть, немного больше того, что они рассказывают о себе сами. Я не знаю, как сложится их дальнейшая жизнь. Я знал их в то самое время, когда в их жизни не происходило ничего сверхъестественного, необычного. Я старался не распространяться о том, что их связывает друг с другом, потому что это само собой разумеется и общеизвестно. Мне просто хотелось выяснить, насколько им необходимо жить, и если действительно необходимо, то как им видится это и видится ли... Ибо перед каждым есть нечто большее, чем просто суета сует, главное, но оно никогда не раскрывается полностью, потому что надо же и потомкам оставить что-нибудь.

1964 г.

Чарльз Мозер

У Анны Ахматовой

Анна Ахматова, в отличие от Бориса Пастернака [в то время, к которому относятся настоящие заметки (1959 г.), он часто упоминался в печати на Западе в связи со своим романом «Доктор Живаго»], со времени пресловутого доклада А. А. Жданова в 1946 году оставалась недоступной иностранцам, главным образом, по своему собственному желанию. Хотя западные ученые и журналисты время от времени пытались ее навестить, она всегда отказывалась с ними встретиться. Поэтому я считаю большой удачей, что получил возможность провести с ней часа два в феврале 1959 года. Так как, кажется, только немногие с Запада имели счастье говорить с нею более или менее обстоятельно в период после 1959 года и до ее смерти, заметки эти могут иметь некоторый интерес для тех, кто занимается ее творчеством.

Свидание наше произошло во время моего пребывания в Ленинграде в 1958-59 гг., когда я был аспирантом Ленинградского государственного университета, в первый год обмена студентами между США и СССР. Я встретился с Ахматовой совершенно неофициальным путем. Получив ее адрес через справочный стол, я сделал безуспешную попытку попасть к ней еще в декабре 1958 года, но ее тогда не оказалось в Ленинграде. Месяца через два я снова явился к ней «без доклада», в воскресенье после обеда; на этот раз я застал ее дома, и она согласилась меня принять.

Ахматова жила на улице Красной Конницы, недалеко от бывшего Таврического сада и знаменитой башни, где до Первой мировой войны собирался по средам у Вячеслава Иванова литературный Петербург, приходила и Ахматова. Квартира ее состояла, по-видимому, из двух светлых комнат, окнами на улицу. Первая, бóльшая, почти без мебели, очевидно, служила чем-то вроде прихожей, через которую проходили в спальню поэтессы. Сама спальня была маленькая, не особенно удобная даже по со-

ветским условиям. В углу стояла кровать, над ней икона, было несколько шкафов с книгами, письменный стол, несколько стульев. На одном шкафу стояла скульптура, изображавшая голову молодой Ахматовой. В разных местах виднелись восточные статуэтки и, конечно, книги: одни на восточных языках, другие на английском, итальянско-русский словарь.

Так как я ее застал более или менее врасплох — видно было, что она гостей не ждала — Ахматова меня приняла в халате; мы сели у стола, начали разговаривать. Она плохо слышала, так что мне нередко приходилось повторять вопросы и замечания; по временам, когда она говорила, она смотрела в окно невидящими глазами. Она сообщила, что впервые за тринадцать лет встречается с иностранцем, что с ними она избегает свиданий; однако получала письма и книги из-за границы. В доказательство она вытащила что-то из груды бумаг и книг на столе и показала мне. В частности, сказала она, недавно пришло письмо от одного голландского ученого, исследовавшего религиозные взгляды русских поэтов начала XX века; она не намеревалась ему отвечать.

Несмотря на свои преклонные годы, Ахматову волновал вопрос о ее красоте в молодости. Это я заметил в связи со следующим. Она начала жаловаться на научный уровень западной славистики, приводила примеры из *Dictionary of Russian Literature* Вильяма Харкинса и *Craftsmen of the Word* Леонида Страховского. Такие книги сердили её даже больше, чем доклад Жданова: что Жданову не нравилось в ней, было по крайней мере ясно; но Харкинс и Страховский просто давали о ней неточные сведения под вывеской научной объективности. Откуда черпали они эти сведения? — спрашивала она. — Неужели из «Петербургских зим» Георгия Иванова, книги, изобилующей неточностями и написанной человеком, который был с ней далеко не коротко знаком? Ахматова особенно обижалась на Харкинса за то, что, по ее мнению, он якобы о других писателях писал объективнее, чем о ней. В книгах Харкинса и Страховского ее раздражал к тому же неумеренный интерес авторов к ее личным делам. Но мне казалось, что больше всего ее сердило то, что ее называли некрасивой женщиной. Чтобы доказать неверность этого положения, она мне показала альбом со снимками; я охотно согласился, что в молодости она по-своему была необыкновенно красива. (Кстати, следует признаться, что после нашего разговора я перечитал те части книг Харкинса и Страховского, которые к ней относятся, и так и не понял, чем они ее так раздражали). Я заметил, что если книги эти действительно создают неверное впечатление о ней,

может быть, стоит попытаться его исправить. Но она только устало махнула рукой: пусть, мол, судят как знают после ее смерти.

Когда мы говорили о ее красоте, Ахматова указала на ныне известный ее портрет работы Модильяни, висевший над кроватью. Она сказала, что была бы готова послать фотографию портрета одному зарубежному ученому, занимавшемуся ее творчеством, если бы не боялась (она говорила это полушутя), что обратят больше внимания на художника, чем на нее.

Потом речь зашла о ее творчестве. Незадолго до того вышел скромный сборник ее стихов тиражом в 25.000 экземпляров, который уже нельзя было достать в книжных магазинах. Перед окончанием Второй мировой войны, когда она временно пользовалась благосклонностью официальных кругов, в «Литературной газете» появилась статья, в которой было объявлено о выходе сборника ее стихов в начале 1946 года. Однако последовал доклад Жданова, после чего никто больше не упоминал об этом сборнике. Оказалось, что книга была напечатана, но тираж был полностью уничтожен, за исключением одного экземпляра, хранившегося у самой Ахматовой.

Она признала за свои некоторые стихи 1951 года, опубликованные в журнале «Огонек», в подлинности которых сомневался Глеб Струве в своей «Истории советской литературы».

На столе у Ахматовой лежало несколько зарубежных изданий ее стихов; ее раздражало, что западные издатели печатают их без разрешения и к тому же не платят никаких авторских гонораров.

Она прочитала мне два-три новых стихотворения, посвященных отчасти теме смерти, выписала короткое стихотворение «Явление луны» на клочке старой бумаги.

К сожалению, я пропустил случай задать ей вопрос о ее религиозных взглядах; впрочем, скорее всего она бы не захотела говорить об этом с незнакомым человеком.

В области литературоведения, как известно, Ахматова долго работала над Пушкиным. В 1958 году Академия наук СССР выпустила сборник статей и материалов о Пушкине; в нем было одно ее исследование, помеченное многозначительной датой: «1947». Она надеялась опубликовать сборник своих статей о Пушкине. В то время она особенно интересовалась вопросом о том, каким путем пришел Достоевский к своему глубокому пониманию пушкинского творчества. По ее словам, ее однажды попросили прочесть доклад о смерти Пушкина в музее-квартире поэта, но она в ужасе отказалась.

Я расспрашивал Ахматову о русских поэтах начала XX века. Когда я поднял вопрос о «Докторе Живаго», на ее лице появилось характерное выражение покорности и усталости. Когда Пастернак ей сообщил, что отправил рукопись в Италию, она не одобрила его поступка: «Горе для него и горе для нас», — так смотрела она на это в то время, но ничего нельзя было поделать. «Доктор Живаго», — сказала она, — напоминает второй том «Мертвых душ»: первым томом являются стихи Пастернака.

Мандельштама она ставила очень высоко как поэта, выше Пастернака; упрекнула меня за то, что за несколько дней до этого я поскупился уплатить 60 рублей (старыми деньгами) за издание «*Tristia*» 1922-го года. Она сказала, что, наверное, вскоре выйдут стихотворения Мандельштама в серии «Библиотека поэта», что якобы в его стихах не было ничего запретного.

На мои просьбы рассказать о поэтах ивановского кружка она ответила, что это было в дни ее молодости, и что она не так хорошо их помнит. Однако она считала Иванова очень талантливым поэтом, так же, как и Белого, несмотря на большое количество «бреда» в его творчестве. Как житейский курьез она вспомнила, что однажды во время Второй мировой войны попала в бомбоубежище, находившееся в том же подвале, где некогда помещалась «Бродячая собака».

После этого Ахматова стала задавать вопросы мне, спрашивая, главным образом, об американских поэтах. По ее словам, она довольно свободно читала по-английски, и действительно, она произносила отдельные английские слова сравнительно чисто. Из прозаиков она любила Фолкнера и Хемингуэя. Последний, по ее мнению, в сущности, не связан ни с какой определенной национальностью.

Беседа моя с Анной Ахматовой прошла очень приятно. Хотя и видно было, что посещение иностранца в восторг ее не привело, она держалась любезно. Мне хотелось, чтобы она еще поговорила о прошлом, но, почувствовав, что я уже и так засиделся у нее, я попрощался и ушел.

Май 1968 г.

А. Краснов

Христос и мастер

О посмертном романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

НЕ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК

Несколько лет назад мне пришлось беседовать с одним из немногих действительно талантливых московских литературоведов (знатоком испанской литературы).

Зашла речь о различных изображениях Христа в живописи.

«Христос представляет интерес только как Бог, — сказал профессор, — ренановский Христос неинтересен. Мало ли было светлых личностей». Поклонник испанской литературы был, конечно, прав.

Христос волнует до сих пор миллионы людей, вызывает любовь и преклонение одних, ненависть и вражду других, является победным знаменем, олицетворением всего чистого и святого для почти миллиарда людей, живущих на земном шаре, только потому, что Его считают Богом, Богочеловеком, Сыном Божиим.

Так твердо веруют не менее 30 миллионов человек у нас в СССР и сейчас, после 50 лет бешеной антирелигиозной пропаганды.

У нас, в СССР. Через полвека после революции.

Это что-нибудь да значит.

И в то же время 150 миллионов человек посмотрят на вас как на сумасшедшего, если вы заикнетесь о чем-нибудь подобном.

Один из наиболее характерных признаков современного мышления — полярность сознания в народных массах: или настоящая глубокая религиозность или полное непонимание того, что такое религия.

Эта полярность сознания, увеличивающаяся с каждым годом, угрожает стать всеобщей через 10-20 лет, когда окончательно исчезнут люди, являющиеся христианами по традиции.

Но вопрос о божественности Христа является актуальным вопросом для всех без исключения людей, ибо христианство существует, существовать будет и собирается в нашей стране (не-

---

Окончание. См. начало в «Гранях» № 71 и 72. Ред.

смотря на капитулянтскую позицию некоторой части духовенства, пробравшегося к руководству Церковью) отстаивать всеми силами свое существование.

Итак, слушай, читатель!

С тобой говорит миллиард человек, живущих сейчас на земле.

С тобою говорят миллиарды людей, умерших и еще не родившихся людей. Все они веровали, веруют и будут веровать в Христа — как в Бога.

Это основной, главный догмат христианства, являющийся краеугольным камнем Церкви. Тот, кто признает этот догмат, — христианин, каковы бы ни были его разногласия с Церковью по другим вопросам.

Тот, кто не признает этого догмата и не верует в него, — не христианин, хотя бы он был связан внешней связью с Церковью.

Итак, мы вступили в трудную и таинственную сферу церковной догматики, ибо система догматов есть нечто цельное, единое, скрепленное внутренней связью. Нельзя говорить об одном догмате, не затронув всех остальных.

Слово «догмат», «догма» вызывает сейчас у многих неприязненные ассоциации. Это слово ассоциируется не только с узостью, нетерпимостью, но и с насилием. Сторонников Сталина и Мао Цзэ-дуна обычно называют догматиками.

Догматы Вселенской Церкви, однако, не имеют ничего общего с опасным фанатизмом политической догматики. Догмат есть учение о Боге, открытое Самим Богом, очевидное для всякого неослепленного сознания, принятое, сформулированное и согласно содержимое Церковью и в то же время вполне понятное для разума. Догмат внутренне обязателен так же, как законы физики (например, закон Ньютона). Всякий, кто их не признает, оказывается в конфликте с истиной и в плену лжи.

Именно поэтому догматы Церкви, как и законы физики, не нуждаются во внешнем насилии. Всякая попытка утверждать догматы силой (начиная со времен императора Константина и кончая дискриминацией сектантов и старообрядцев в царской России) заслуживает самого решительного осуждения. Увы! политика часто плохой союзник для Истины (да будет позволено это сказать мне, человеку, менее всего чуждому политике).

Многим покажется странным наше сравнение церковных догматов с законами физики. Нам, прежде всего, возразят, что об основных законах физики люди не спорят, а догматы Церкви не

только подвергаются яростному оспариванию, но большинством людей попросту отвергаются (христианами являются лишь около миллиарда людей, тогда как население земного шара сейчас уже перевалило за три миллиарда). Энгельс когда-то писал, что математические аксиомы подвергались бы яростному оспариванию, если бы существенно задевали интересы людей. Сказано блестяще, остроумно и, главное, правильно. Но именно догматы Церкви и затрагивают более, чем что-либо, сердца, умы людей, всю жизнь мира, самые главные интересы людей. Однако нам возразят, что физические законы базируются на точном исследовании, тогда как догматы требуют веры. Здесь мы действительно сталкиваемся со специфической стороной религии. И на ней необходимо остановиться.

Как-то раз, когда я был учителем, я задал ученикам 10-го класса сочинение — «Мое любимое произведение». Один шустрый парнишка накатал мне сочинение о Нате Пинкертоне. На мой вопрос, почему он избрал такую тему, я получил ответ: «Ну, не писать же о «Войне и мире». Кто же поверит, что такая гадость может быть любимым произведением».

Увы! это не было эпатажем — это было его искреннее мнение. Один мой приятель, учитель литературы, побывав на Дрезденской выставке, сказал: «Посмотрел я на Сикстинскую Мадонну. Сразу увидел, что ничего в ней нет особенного. И пошел в буфет пить пиво».

И, наконец, другой мой товарищ, кандидат филологических наук, специалист по Пушкину, совершенно уверенный в том, что русская литература кончилась Чеховым, снисходительно заметил: «Бросьте вы носиться с вашим Блоком и Пастернаком. Что вы нашли в них особенного? Самые обыкновенные шизофреники, любой психопат напишет такие стихи».

По опыту знаю: спорить — бесцельно, человека не убедишь. А таких людей очень много. Просто все три моих собеседника очень простодушные люди, чуждые эстетического лицемерия, которое заставляет людей анализировать то, чего они сами не понимают, восхищаться тем, что наводит на них сон.

Мы привели в пример трех человек: парнишку-десятиклассника, учителя и кандидата. Но можно подняться выше, гораздо выше. Вспомним статью Л. Н. Толстого о Шекспире, в которой почитание Шекспира объявляется предрассудком. Вспомним статью Писарева с отрицанием Пушкина или воспоминания Бунина, в которых охаивается огулом вся русская литература XX века.

Вот и оказывается, что мало знать историю литературы или живописи, — надо еще уметь чувствовать художественное произведение, надо соединиться с сердцем, переставшим биться, быть может, много веков назад, проникнуть во внутренний мир давно умершего человека, сродниться с ним и полюбить его.

И, быть может, ни к одной другой области не относятся более, чем к искусству, слова В. С. Соловьева:

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете.

Так и в догматах: их мало знать — надо почувствовать их сердцем, надо воспринять живую реальность, выраженную в них. Так же, как мало знать оптические законы преломления света, надо, по известной французской поговорке, когда говоришь о солнце — видеть его лучи...

Поговорим же о Солнце и постараемся почувствовать Его лучи. Святые отцы очень часто сравнивают Бога с солнцем. И это сравнение правильно, ибо Бог — это тепло и свет. Темно и холодно душе вдали от Бога.

Бог — вожделенное и вечно грозное слово.

С тех пор, как существует человечество, оно непрерывно пытается проникнуть в сокровенную тайну Бога. И человек познал Бога.

И познал он, прежде всего, то, что Бог — непознаваем.

Как-то в молодости мне импонировали слова Аэция (еретика и бродячего актера IV века, представителя крайней арианской партии), который говорил: «Я знаю Бога так же хорошо, как самого себя». Как-то я привел эти слова в беседе с одним моим приятелем, ныне довольно известным московским богословом. Он мне ответил: «Это нахальный богослов вашего типа. Уж очень много вы все знаете». Мой приятель был, конечно, прав. Теперь, на старости лет, я готов воскликнуть иное: «Бога я знаю так же плохо, как и самого себя». Ибо и самих себя все мы знаем очень плохо, и психология — это, вероятно, самая темная из наук.

И все-таки мы знаем о Боге, знаем многое — все, что Он нам открывает о Себе. Мой покойный учитель А. И. Введенский как-то сказал: «В богословии мы должны проходить между Сциллой всезнайства и Харибдой немогузнайства». Здесь полная ана-

логия с природой. О природе мы знаем ровно столько, сколько она нам открывает о себе.

И опять Сцилла всезнайства — самоуверенная попытка объяснить нам вещи абсолютно неизвестные, да еще и стремление навязать эти объяснения всем и каждому («теория отражения»).

И Харибда немогузнайства — агностицизм, субъективный идеализм, солипсизм, когда человек вдруг начинает сомневаться в самых очевидных вещах и не верить самому себе.

Знаменитый английский богослов XIX века кардинал Ньюмен когда-то определял богословие как «науку о том, что мы знаем о Боге».

Это правильно, если прибавить следующее: а знаем мы о Нем только то, что Он нам в Себе открывает.

Итак, что же мы знаем о Боге?

Человек с древних времен, наблюдая окружавшую его вселенную, увидел в ней гармонию, цельность и законченность. Он понял всем своим сознанием — и сердцем и умом, что в мире есть единое духовное начало, что слепая, бесчувственная хаотичная материя не может быть единственной категорией бытия. Первобытный человек знал о жизни мало, очень мало. Но он знал все же, что дома не могут строиться сами собой, что лодки, глиняные горшки — ничего само собой не делается. Материя представляет собой лишь инертную бесформенную массу, пока к ней не приложена творческая энергия, воля, разум.

И человек познал Творца — Духа — творческий Разум.

И Бог открылся человеку в триединстве.

Триединство не есть чья-либо выдумка. Это не есть даже специфический христианский догмат. Триединство — это объективная реальность, ибо невозможно воспринять Бога иначе, как в триединстве.

Христианство лишь зафиксировало в догмате то, что в других религиях ощущается смутно, аморфно, как бы сквозь темные очки.

Христианство установило гармонию и ясность там, где были односторонность, смещение понятия, гипертрофия ипостасей.

Бог — это Творец, первый толчок, источник, перводвигатель. *Это — Отец.*

Если бы Его не было — не было бы ничего, ибо, как писал один из мистиков XIX века Дюпрель, утверждение, что мир мог быть создан сам собой, напоминает рассказ барона Мюнхгаузена о том, что он сам себя вытащил из болота за волосы.

Итак, Бог — это Отец. Но мир, сотворенный Богом, не мертвый, не косный, но движущийся, живой, управляемый мир. Бог пребывает всюду, и везде, и во всем — всему дает законы, и все движет, и все рождает, и все развивает.

Ибо в мире есть внутреннее органическое развитие. Развитие это происходит не путем нажатия каких-либо кнопочек, не путем внешних, механических передвижений (как переставляют мебель в комнате), а путем внутренних органических изменений.

Развитие — это закономерные последовательные изменения от низших форм к высшим. Развивается растение из семени в злак, в дерево, в плод.

Развивается дитя в утробе матери — из спермы и яйца в живого ребенка. Развивается этот старый, старый, но такой юный мир, переходя от низших ступеней к высшим.

И открылся человеку Бог не только как источник, как Отец, но и как непрестанное рождение, обновление, творчество.

На иконах мы видим Бога-Отца как старца, ветхого, седовласого, почивающего от всех дел своих.

Но это не удовлетворяет пастора Бранда — пылкого ибсеновского героя, он говорит, что его Бог — не старый дед, скорее Геркулес.

И Бранд не замечает, что Старец (Отец, источник) и Геркулес (творчество, молодость, сыновство) — это две ипостаси, два лица Единого Бога.

И в давние, давние времена человек увидел эту вторую ипостась: творческий разум, действующий и творящий. Он назвал его Логосом. Логос (слово, мысль, закономерность), лежащий в основе мира, по Гераклиту. Нус — мировой ум, по Аристотелю и Платону. Сын Божий — по Евангелию, ибо Он как бы вновь непрерывно рождается всюду и во всем.

Он — Слово Божие — открытие в мире непостижимого Творца, Он — осуществление цели, творчество. Он — Премудрость Божия, раскрывающаяся в мире. Он — сияние славы Отчей. Лучистое сияние, которое видит и чувствует в творении всякий человек.

Гегель называл Его абсолютным духом, но он ошибся, приписав Ему бессознательное развитие, познающее Себя лишь в человеке. И это была поистине великая ошибка, ибо тогда развитие было бы безумием, а не явлением Премудрости Божией.

Св. Афанасий Великий сравнивает Бога-Отца с источником, а Сына Божия — с рекой, широко разлившейся по всей вселенной, с потоком Разума и Света. Бог, все хранящий, все проницающий, все развивающий и все устрояющий. Так познал человек Бога-Отца.

Белинский когда-то писал, что более всего интересовать человека будет всегда сам человек. И человек смотрит не только вокруг себя. С гораздо более пристальным вниманием он смотрит внутрь себя. И здесь он тоже видит Бога.

И чувствует человек в себе Дух Господень, Он проявляется по-разному. Он говорит ему через совесть, Он обновляет его умственные и духовные силы, Он открывает человеку Истину. Он украшает человека, приобщая его к таинственной духовной, Божественной красоте. Он общается с человеком через молитву. Он подвигает человека на молитву, и отвечает человеку, и исполняет молитвы.

Бог — тепло, Дух, говорящий с человеком, — это Бог-Дух Святой.

Древний учитель церкви, великий Ориген говорит о Духе Святом, что сфера Его действия у́же действия Отца и Сына, но зато и выше Их сферы, ибо Отец и Сын действуют во всей вселенной, а Дух Святой — в сердцах людей.

Как мы сказали выше, триединство не является достоянием лишь христианской религии — оно известно и другим религиям.

Однако эти религии лишены универсальности и широты христианства: они наблюдают Бога как бы из дальнего угла сквозь темные очки, поэтому для них характерна гипертрофия одной из ипостасей триединого Божества. Отсюда весь Божественный план представляется им как бы в перекошенном, перевернутом виде. Есть религии, подавленные величием Бога-Отца. Преклоняясь перед Ним в священном трепете, они как бы не замечают Сына и Духа.

Но Бог-Отец, лишенный Сына и Духа, может действовать на мир лишь внешне, как грозный Повелитель, как Деспот и Царь.

Так исповедуют Бога иудейство и ислам. Ложные ли это религии? Они не ложные, а односторонние, а поэтому и не истинные.

Есть религии, которые воспринимают Бога лишь как Премудрость, разлитую в мире, как реку без источника, как Премудрость без личности, как силу стихийную и аморфную. Это

пантеизм всех толков и направлений, начиная от философии буддизма и кончая пантеизмом Гёте и Гегеля.

Есть религии, которые воспринимают Бога лишь в сокровенном касании души человеческой. Из всех ипостасей они видят лишь одну ипостась — Святого Духа.

Таков утонченный брахманизм со всеми его многочисленными школами, из которых надо особо выделить йогов.

Таковы и европейские интерпретации индуизма — теософия, антропософия, нехристианские мистики всех родов и видов. Мы не случайно, говоря о брахманизме и буддизме, употребили термины «утонченный», «философский» и т. д. Ибо в религиозной практике, в молитве происходит как бы поправка догмата: каждый простой богомолец — браманист или буддист, не имеющий представления о буддистском богословии с его вывертами, с его тонкостями, молится Богу, обращаясь к Нему как к Творцу, как к вечно действующим в мире Мудрости и Силе и как к Духу, прикосновение Которого он чувствует в своем сердце.

Но лишь Евангелие, лишь Церковь явили подлинный свет миру, сделали неясное ясным, сокровенное — явным, темное — солнечно светлым.

Евангелие и Церковь провозгласили учение о Триедином Боге.

*

В какие-то моменты мы так ясно видим, ощущаем Бога в природе. Об этом писал М. Ю. Лермонтов в известном стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива», которое оканчивается словами: «И в небесах я вижу Бога».

Шатобриан писал несколько иначе:

«Я видел в Южной Америке чудесную ночь, следовательно, Бог существует».

Но воплощение Бога не могло совершиться в неодушевленной природе, оно могло совершиться лишь в человеке, ибо из всех чудес мира самое великое — это человек.

Афанасий Великий, споря с Арием, подчеркивает, что Слово Божие — Сын Божий — есть Сила и Премудрость Божия. Представить себе Отца без Сына, — это значит представить себе немудрого и бессильного Бога, — пишет великий отец Церкви.

Но Премудрость и Сила Божии могут воплотиться только в человеке — существе, способном воспринять и явить мудрость и силу. И Сын Божий явился как Богочеловек.

Вот мы опять встретились с Иешуа Га-Ноцри.

Ибо оборванный узник Иешуа и Иисус Христос, победно восседающий на золотом престоле со скипетром в руке, на херувимах и серафимах — это одно и то же Лицо.

Что поражает в Иешуа всякого, кто к Нему приближается? Всякого, кто к Нему приближается, поражает в личности еврейского плотника, полунищего странника — сверхчеловеческая власть. Обаяние личности — это большая, но все же быстро преходящая сила. Быстрее всего проходит обаяние власти. Государственных деятелей обычно забывают, как только исчезнут созданные ими государственные формации, или когда на смену им приходят другие, еще более могущественные деятели. После 1917 года поэтому очень редко вспоминают Петра I и Наполеона, а Цезарь, Александр Македонский, Асаргаддон — это почти совсем забытые имена.

Не долговечнее и гений в науке. Здесь обычно идет противоположный процесс: деятеля науки забывают сразу же после того, как его открытие становится всеобщим достоянием, делается привычным, перестает поражать воображение. Кто думает сейчас о Яблочкове и Эдиссоне, сейчас, когда созданная их гением лампочка имеется в каждой квартире. Кто вспоминает сейчас о Гуттенберге, сейчас, когда его изобретение, которым столько злоупотребляют, пропитало жизнь почти как воздух и свет.

Несколько более долговечен художественный гений. Однако история литературы дает разительные примеры умирания даже самых мощных гениев. Не боясь ошибиться, скажу, что даже самый великий писатель живет подлинной, полноценной жизнью никак не больше столетия. За это время жизнь может измениться еще не столь бурно, чтобы нужны были комментарии. Через сто лет непосредственное, живое общение с художественным произведением становится невозможным: приходится людям объяснять, разъяснять, давать комментарии. Затем комментарии становятся все более и более обширными, сухими, появляются, наконец, комментарии к комментариям — вступает в свои права мрачное племя гробокопателей, именуемых литературоведами.

Но время идет. И вот сами комментаторы перестают толком понимать, что они комментируют, — писатель поступает в музей.

Нужно подтверждение?

Пожалуйста. Солженицын, Паустовский, Шолохов и Н. Островский пока еще не нуждаются ни в комментариях, ни в литературоведах. Они ясны и понятны.

Нам, интеллигентам старой формации, так же близка вся русская литература XIX века — от Пушкина до Л. Н. Толстого, потому что вся старая интеллигенция была в быту лишь осколком старой аристократии — и все эти Анны Аркадьевны, Облонские, Ростовы живо напоминают нам людей, виденных нами в детстве.

Не то — молодежь. Их нужно убеждать, что Л. Н. Толстой — великий писатель, чтобы они поняли Толстого — нужен комментарий. Еще больший комментарий нужен для Шекспира. Здесь уже нужны лекции по истории Англии, знание Ренессанса, английского театра и т. д. Тут уже нужно быть не только читателем, но немножко литературоведом.

Что же сказать об античности? Когда-то, молодым аспирантом, я решил специализироваться на античной трагедии. Я увлекался тогда греческой трагедией — и как-то чувствовал ее обаяние. Прошло 10 лет. Я сидел в тюрьме, и один московский парень попросил меня рассказать про античную трагедию. Я начал рассказывать и остановился. Я убедился в том, что уже не чувствую и не понимаю ни античности, ни греческой трагедии, ни своей былой в нее влюбленности. Чтобы вернуть себе это отношение к античности, я должен был бы вновь окружить себя книгами, исследованиями, снова перечитать всех античных авторов, — короче говоря, сделать огромное усилие над собой, чтобы приобщиться к античному гению, и я понял, что и любимая мною русская литература XIX века, быть может, скоро, очень скоро попадет в музей и сделается достоянием специалистов.

Насколько долговечнее основатели религий — религиозные гении. И Будда, и Мухамед — все еще живут не как воспоминание, а как живые проповедники и учителя: миллионы людей до сих пор греются их внутренним огнем, светятся отраженным светом от их света, черпают в их учении радость и утешение, через них приходят к Богу.

Однако попробуйте их на один миг поставить рядом с Христом, и вы сразу увидите, как эти яркие, сильные образы бледнеют, превращаются в тени. Сакья-Муни — чудесный царевич, мудрый старец, носитель драгоценнейшего дара сострадания ко всему живому, «драгоценность, сидящая в лепестках лотоса» — как все-таки идиллична, проста, легка его жизнь по сравнению с трагедией Голгофы. Как спокойна и мягка его любовь — сострадание. Она подобна тихому, светлому озеру, тогда как бур-

ная, всеохватывающая любовь Христова — это необъятная пучина, бездонный океан.

А Мухамед? Вдохновенный неграмотный пастух, почуявший в себе великие силы, приведший к единому Богу целые народы, косневшие в идолопоклонстве. И в то же время полководец, политик, деспот, женолюбец, страстный, вспыльчивый, нежный, великодушный... — о как жалок, как узок, как мелок он перед Христом!

Итак, Христос и только Христос. Даже самые великие гении становятся жалкими и слабыми по сравнению с Ним.

Наполеон Бонапарт, сидя на острове св. Елены, полюбил Евангелие.

И однажды, раздумывая над Евангелием, он сказал:

Христу удалось то, что не удалось ни одному императору, государю, полководцу, министру — Ему удалось заставить полюбить Себя.

Его полюбили давно, когда «прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Мф., 4, 24-25).

Прошло 2000 лет, и следуют за Ним множество народов, несчастные, исстрадавшиеся народы — народы Европы, Америки, пробуждающейся Африки и родной наш русский народ, который так и не смог, как ни силился, забыть Христа.

Будущий историк второй половины XX века, возможно, назовет наше время эпохой великого банкротства. Ибо все без исключения философские, политические, социальные движения переживают сейчас острый кризис, размагничиваются, теряют свой энтузиазм. И сон, холодный сон овладевает людьми.

А кругом все пусто и немо.
В смертном сне враги и друзья,
Но горит звезда Вифлеема,
Так светло, как любовь моя.

А. Блок

Так светло, как любовь моя. Никогда никого так не любили, как Христа, по одной простой причине: никто никогда так не любил людей, как Он. Учение Христа — это не просто учение о люб-

ви. Это — энциклопедия любви. Тут говорится о любви к ближнему и о любви к дальнему («Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино...» — Ио., 17, 20-21), о любви милующей, всепрощающей и о любви карающей и грозной, о любви к друзьям и о любви к врагам.

Любовь Христова всеобща, универсальна, выдерживает все испытания, поддерживает во всех случаях, является критерием ценности всякого человека. Именно потому, что учение Христа энциклопедично, из него нельзя выдергивать отдельные фрагменты (типа толстовского «непротивленчества»), отдельные фразы, разделы.

Про любовь Христову нельзя сказать: я не принимаю этого, но принимаю то, так же, как нельзя сказать: я принимаю дифференциальное исчисление, но я не принимаю интегрального — ибо любовь Христова едина.

И нельзя закрыть Евангелие и перейти к другим книгам, ибо нигде больше не научишься любви, кроме как в Евангелии. Всюду и везде — лишь осколок, лишь слабый отблеск его.

*

Но в этой любви вся Премудрость и вся Сила Божия. Ибо любовь Божия создает и держит мир.

И любовь Божия, полная и совершенная, преисполняет Христа, обитает в Нем телесно, и Он Сам поэтому Любовь Божия, Мудрость, Предвечный Логос в человеческой личности — Единородный Сын Божий — Богочеловек.

БОГОЧЕЛОВЕК

В свое время константинопольский патриарх Несторий (один из самых убежденных и лично бескорыстных еретиков, каких знала история Церкви), споря с Церковью о Личности Христа, говорил, что он не может признать Бога в трехдневном Младенце. Очень многие повторят эти слова Нестория. И здесь мы подходим к важному пункту в учении о божественности Христа.

На страницах этой работы мы называли имена многих великих людей. Вспомним еще одного из них (наиболее «беспартийного») — Альберта Эйнштейна.

Как он сделался гением? Он работал? трудился?

Но сколько людей трудилось еще больше, чем он, и гениями не стали. Он много учился? Но сколько людей училось еще больше, чем он, и гениями не сделались.

Ответ возможен только один: Эйнштейн гением родился. Когда он был трехдневным младенцем, он, конечно, еще не был автором теории относительности, ничего не знал о физике, — но он был уже тогда гением. Он был гением в потенции. Из него мог выйти гений, а из нас с вами, читатель, гений выйти не мог, что бы мы с вами ни делали. Даже самый беглый взгляд на гения не оставляет сомнения во врожденности гения. Поэтому Пушкин в 14 лет пишет великолепные стихи, Моцарт в семь лет сочиняет симфонию, семилетний графчик в Ясной Поляне ищет зеленую палочку, которая могла бы сделать всех людей счастливыми.

Нельзя сделаться гением, но уже совершенно невозможно было бы сделаться Богом, воспринять в Себя всю полноту Божества — Любовь, Премудрость, Силу Божию, — Предвечный Божественный Логос.

Богом можно было только родиться. Поэтому Церковь отвергла несторианское учение, говорившее о том, что Иисус лишь впоследствии (в момент Крещения) стал Богом, как ересь.

Мало того, внимательное изучение биографий выдающихся личностей говорит об особом внутреннем сродстве между человеком и его матерью.

В двадцатые годы был издан дневник Марии Николаевны Волконской (будущей графини Толстой и матери Л. Н. Толстого). Дневник этот она вела, будучи девушкой. Умерла она впоследствии, когда ее сыну было пять лет, следовательно, никакого непосредственного влияния быть здесь не могло. Однако перечитайте этот дневник и вы найдете в нем Л. Н. Толстого: та же вечная неудовлетворенность, поиски правды, нравственного совершенствования, больная совесть — все это так странно в великосветской барышне, одной из богатейших в России невест.

А мать Лермонтова? Эта тоже умерла, когда ее сын был малолетним. Прочтите ее письмо. Та же меланхолическая окраска, те же настроения, та же угрюмость и вечное стремление к искусству (музыка), что и у сына.

Чтобы родить гения, надо быть в чем-то конгениальной сыну. Чтобы родить Бога, надо быть Богородицей, надо быть сопричастной Его Божеству, надо быть Божией Матерью.

И Церковь отвергла несторианскую ересь, исповедовавшую назаретскую еврейскую Девушку Христородицей, и наименовала Ее Божией Матерью — Богородицей.

В чем заключалась, однако, близость Девы Марии к Богу?

Родив и воспитав Своего Сына, Она смиренно отходит в безвестность. Ее нет при Нем в моменты Его славы, всенародной проповеди, всенародного чествования.

Она появляется лишь в тот момент, когда Сын Ее, опозоренный и избитый, умирает на кресте между двух разбойников.

Но верующие уловили внутреннюю связь Ее с Сыном. Она заключалась в Ее чистоте, непорочности и в Ее любви к людям. Иначе бы не могла Она дать жизнь такому носителю Божественной Любви и безгрешности...

Гёте как-то заметил Эккерману, что гений — это чудо: «Мы говорим, что нет чудес, и при этом забываем, что Гомер, Шекспир и Сервантес — это и есть чудо».

Это, конечно, правильно, потому что рационально нельзя объяснить появление гения.

Но если появление гения — это чудо, то появление на земле Христа — это чудо из чудес.

И появление Его на земле должно было начаться чудом.

Чудом было Его Рождество и Благовещение о Его появлении на земле.

*

Мы упоминали об Эйнштейне. Он родился гением. Под влиянием сложных таинственных генетических законов появился на свет ребенок, обладающий способностью делать то, что другие люди не умеют.

Об этой его способности, однако, никто не знал, в том числе не знал и он сам.

Но мальчик рос, и постепенно выявлялся, обнаруживался, развивался его гений.

Через всю жизнь пронес он свой гений, и кульминационным пунктом развития его гения стала теория относительности.

Иешуа Га-Ноцри родился Сыном Божиим — воплощенной Премудростью, Силой, Любовью Божией. И люди сказали: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры?» (Мрк., 6, 3).

Он и действительно был плотником — до 30 лет, ибо Божественный Логос был в потенции, в тайне. Явление, развертывание

Силы Божией, живой в Иешуа, составляет все содержание Его жизни.

Древняя Церковь знала многих еретиков, которые представляли себе соединение двух природ в Христе — Божественной и человеческой — как механическое соединение.

Уже во II веке пришли докеты и объявили, что внешний облик Христа был лишь видимостью, иллюзией, эфиром.

Потом в IV веке пришел Аполлинарий Лаодикийский, который признал реальностью плоть Христову, но отрицал разумную душу в Христе; во Христе, говорил он, обитал Божественный Логос, который заменял в Нем разумную душу.

Наконец, в V веке монофизиты, признавая во Христе реальную человеческую природу, объявили ее каплей, которую поглощал океан — Божественный Логос.

Во всех трех случаях воплощение Сына Божия принимало вид какого-то водевиля с переодеванием. Бог лишь притворился человеком, выдал Себя за человека, принял образ человека.

Но Евангелие, но Церковь отвергли такое толкование, ибо во Христе мы видим не переодевание, даже не только воплощение, а *вочеловечение Всемогущего Бога.*

«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости» (Лк., 2, 40).

«Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков» (Лк., 2, 52).

Иисус проходил все стадии человеческого развития, и с возрастанием Его силы, интеллекта, душевных сил являлись миру Божия Сила и Божия Мудрость. А что такое Божественная Сила и Божия Мудрость? Божественная Сила и Мудрость — это любовь, ибо «Бог есть любовь» (1, Ио., 4, 8).

Когда-то Эмпедокл учил, что основой физической природы является любовь: любовью небо притягивается к земле, любовью стихии собираются вместе, любовью атомы соединяются друг с другом.

Пройдут два тысячелетия, и знаменитый англичанин выступит с математическим обоснованием этого мировоззрения, и назовет его теорией всемирного тяготения. Но сущность теории от этого не изменится. Природа не перестанет от этого быть союзом различных сил, элементов, союзом любви. И Любовь, соединяющая всю природу — небо, землю, воды, атомы, органическое и неорганическое, всякое дыхание и всякую тварь, это и есть Божественный Логос — Премудрость и Сила — Единородный

Сын Божий, являющий в мире непостижимого, непознаваемого Бога.

*

Л. Н. Толстой в своих поисках смысла жизни устами Левина заменил шопенгауэрскую формулу «Мир как воля и представление» другой формулой — «Мир как любовь и представление».

И он был прав, ибо любовь есть подлинная реальность, все остальное есть мнимость, призрачность, бренность, представление.

В. Соловьев пишет в своем стихотворении «Бедный друг! Истомил тебя путь...» следующее:

Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

*

Воля вовсе не всегда есть любовь: возможна и злая воля.

Но любовь — всегда воля; безвольная и бессильная любовь — это обломовщина, маниловщина, а не любовь. И Христос — концентрированная воля. А где воля, там и власть.

Но довольно философии. Пойдем в Галилею, вмешаемся в разноликую говорливую еврейскую толпу — это сходит с горы окруженный народом Иешуа. Сейчас совершилось историческое событие, значение которого превосходит все битвы, все победы и все поражения. Сейчас была произнесена Нагорная Проповедь. Каков Он в этот момент? Он, создавший произведение, которое будет жить вечно.

«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф., 7, 28-29).

«Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.

И вот, подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.

Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы» (Мф., 8, 1-3).

Такова вся жизнь Иисуса: любовь, воля, власть.

Любовь, воля, власть — в учении, в чудесах, в преодолении искушений, в абсолютной нравственной чистоте.

Любовь, воля, власть, когда они относительны, — это святость, праведность, гениальность.

Любовь, воля, власть, когда они абсолютны, — это и есть *Божественность*.

ГОЛГОФА

В XVI веке в Германии жил художник Маттиас Грюневальд. Выходец из простой крестьянской семьи, переживший все смуты, войны, кровопролития и мятеж, он видел много страданий и сам много страдал. И он написал картину «Голгофа». Картину, не обратившую на себя особого внимания современников и вскоре забытую среди красочных полотен в одном из музеев.

И через 300 лет ее увидел один француз. Это был странный человек, чиновник министерства внутренних дел, занимавший прозаическую должность — в течение 30 лет штемпелевавший визы иностранцам. Он всю жизнь тосковал, томился, колебался между отчаянием и надеждой, колебался между крайним реализмом (натурализмом) и крайней мистикой, между Эмилем Золя и Иисусом Христом. Это был Ж. К. Гюисманс, ставший в начале XX века одним из популярнейших европейских писателей. Посмотрим на Голгофу глазами двух этих людей — Грюневальда и Гюисманса.

«То был Христос бедняков, Христос, общавшийся с несчастнейшими из тех, кого снизошел искупить, с обездоленными и нищими, со всеми, над бедностью и юродством которых издевается людская злоба. Христос, всегда доступный человеческому пониманию, Христос, с телом слабым и бессильным, покинутый Отцом, Который смягчился лишь, когда были исчерпаны все мыслимые муки, Христос, оставленный всеми, кроме Богоматери. К ней, немощной и бессильной, воззвал Он криком дитяти...

Конечно, никогда натурализм не погружался в такую область. Никогда не изображал в таком виде Божественное Тело художник, не опускал своей кисти в такую глубину терзания, в такую гущу кровавых пыток. Это было чрезмерным, это было ужасным. Грюневальд выказал себя беспощаднейшим реалистом. Но если всмотреться в распростертого Искупителя, в Божественное Тело, то впечатление менялось. Сияние исходило из этой

истерзанной головы, сверхчеловеческое выражение светилось в измученном Теле, в Лике, искаженном страданием.

Действительно, было Телом Господним это Тело и без сияния лучей, в простом наряде тернового венца, усеянном каплями крови, являл Иисус Свое небесное сверхсущество между Девой, сокрушенной, в отчаянии рыдавшей, и св. Иоанном, воспаленные глаза которого утратили уже способность источать слезы... Грюневальд сочетал в себе высшую меру реализма с беспощаднейшим идеализмом».*)

Голгофа — высшее проявление Божественной Любви.

Голгофа — кульминационный пункт Христова дела.

Голгофа — полное раскрытие Его Божественности.

Но что такое Голгофа?

Выше мы цитировали Гюисманса, который говорил о натурализме и идеализме. Когда-то А. В. Луначарский, объясняя разницу между реализмом и натурализмом, нарисовал такую картину (цитирую по памяти): человек объяснился в любви. У него на душе праздник, свет, поют птицы. Он идет вечером, в осеннюю погоду, моросит дождик... Реалист опишет его душевное состояние, а натуралист вам нарисует просто забрызганного грязью человека.

Булгаков и увидел на Голгофе одну лишь грязь — тучу мух и слепней, облепивших лицо и тело Иешуа Га-Ноцри.

Бедный, бедный Мастер, ничего-то ты не понял на Голгофе!

А действительно ли ничего не понял?

Нет, все-таки кое-что понял. Он понял, что Голгофа — это величайшее унижение Спасителя. А раз унижение — значит, и мухи, и слепни, и грязь.

Богословы обозначили это греческим термином «кенозис».

А гениальный современник Булгакова выразил это понятие на поэтическом языке так:

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы.

Б. Пастернак. Гефсиманский сад.

---

*) Ж. К. Гюисманс. «Там внизу», М., 1911, стр. 17-18.

Евангелие описывает страдания Христа со скрупулезной точностью, ничего не скрывая. И этим одним, между прочим, опровергается мифологическая теория: никогда ни один автор, задавшийся предвзятой идеей изобразить Бога, не станет изображать Его тоскующим, плачущим, умоляющим, чтоб минула чаша страданий, взывающим с креста:

«Боже мой, Боже мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф., 27, 46).

Так может писать только свидетель, очевидец, бесстрашный реалист, до того уверенный в высоте своего Учителя, что он боится пропустить хотя бы одну черточку из Его жизни, так как ничто не может Его унизить.

Однако и евангелисты бессильны проникнуть во внутренний мир Божественного Страдальца, и они Его описывают не изнутри, а извне. И Церковь, смотря на муки Спасителя, в молчании встречает Плащаницу и в смущении возглашает:

«Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным...»

«В СНЕДЬ ВЕРНЫМ»

Это было в 1951 году в архангельских лесах, в 4 лагпункте в местечке Пукец. Я стоял в половине двенадцатого ночи под Пасху на крыльце лагерной больницы, одетый в лагерный бушлат. Была ранняя Пасха. И здесь на Севере была совсем зима: лежал почерневший снег, и отблески северного сияния, белые отблески лежали на ночном небе.

Я приготовился мысленно присутствовать на Светлой Пасхальной Заутрене и представлял себе мысленно Христа, лежащего в сырой и темной пещере, придавленной огромным камнем.

И вдруг я почувствовал, почти физически почувствовал Христа — Христа страдавшего, погребенного, сошедшего во ад... Как мучительно любил Он людей в Гефсимании и там на Голгофе. Он любил не человечество, — человечество, эту глупую выдумку гуманистов, — любить нельзя. Он любил людей. Он чувствовал каждого человека в отдельности. Он чувствовал и видел Свою Мать, и ученика, и беснующуюся толпу, и умиравших разбойников — и любил каждого из них.

И раздвинулось сознание Сверхчеловека — и Он увидел

всех, всех живших до Него и всех, кому еще предстоит жить на этой земле. И Он чувствовал страдания, и греховность, и скорби каждого человека и страдал с каждым из них.

Он был с каждым из этих людей и был каждым из них. Сплошная тьма покрывала Его — и, страдая вместе с людьми, Он произнес: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил?»

Так совершилось Искупление.

Хороши северные ночи. Хороши! Мне они милее душистых южных ночей. Снег, белые блики, одиночество, тишина...

И я почувствовал, что Любовь Христова не умерла, что и сейчас, когда Он лежит в гробнице, Любовь Его охватывает всех и вся, рай и ад, небо и землю, живых и умерших людей.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ!

И Он воскрес из мертвых в третий день! И видели Его, и свидетельствуют об этом ученики Его и многие люди, видевшие Его. Выслушаем одного из них: «Ибо я первоначально преподал вам, что́ и *сам* принял, *то есть*, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пяти стам братий в одно время, из которых бо́льшая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу» (I Кор., 15, 3-8).

И, чувствуя воскресшего, живого Христа, объемлющего меня Своею любовью, я чувствую силу, от Него исходящую, я чувствую Руку, протянутую мне, и восклицаю:

Воистину воскресе Христос!

22 июня — 22 августа 1967 г.
Москва

По сведениям, пришедшим из России, автор этой статьи — А. Красновлевитин — был арестован в середине сентября этого года и находится в настоящее время в московской Бутырской тюрьме. — Ред.

Богдан Суходольский

МОЗГ И ЛИЧНОСТЬ

ОТ РЕДАКЦИИ

11-15 марта 1968 года в Париже состоялся организованный ЮНЕСКО международный коллоквиум, посвященный теме: «Исследования мозга и человеческое поведение». В нем приняли участие несколько десятков крупнейших ученых мира: нейрофизиологи и психиатры, биологи и социологи, биофизики и педагоги. Отметим среди них нобелевских лауреатов — лорда Адриана, Д. Бовэ, Е. Чейна, Д. Экклеса, А. Львова, Х. Теорелла, а среди русских участников коллоквиума: акад. П. К. Анохина, Е. А. Асратяна, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьева и Д. Б. Эльконина.

Вероятно, впервые проблема мозга, его комплексного изучения подверглась столь всестороннему обсуждению цветом современной мировой науки. Это знаменательно как этап перехода к новой преимущественной ориентации науки, как признак ее растущего интереса к биологическим проблемам и, прежде всего, к центральной проблеме — человеку.

Трудно говорить о результатах этого коллоквиума: он был панорамой исследований, ведущихся в разных областях — от физиологии и кибернетики до лингвистики и социологии. Это дало возможность ученым ознакомиться из первых рук со знаниями, накопленными в каждой из этих областей. Это был, конечно, шаг к выработке общей программы исследований, но лишь первый шаг в международном масштабе. Но пока — мозаика осталась мозаикой. Никто из участников не отважился на обобщения. Могло создаться даже впечатление, что люди говорят на разных языках и что взаимопонимание между ними, а тем более слаженная работа — дело еще далекого будущего. Порой кое-кто задавал ошеломляющий вопрос: а для чего, собственно говоря, мы изучаем столь скрупулезно раздражимость отдельного нейрона или проделываем хитроумнейшие эксперименты на сотнях оперированных в области мозга обезьян? Интересуемся ли мы этими

Доклад «Мозг и личность» был прочитан 13 марта 1968 г. на коллоквиуме, организованном ЮНЕСКО в Париже 11-15 марта 1968 г. под общим названием «Исследования мозга и человеческое поведение». Публикуется в переводе с французского. — Ред.

вопросами как таковыми, хотим ли мы только разобраться до конца в функционировании нейрона, или вжиться полностью в обезьянью психику, или, в конечном счете, все это нам нужно для того, чтобы понять самих себя? Поэтому на фоне узкоспециализированного углубления в детали приятным диссонансом прозвучало выступление польского ученого педагога Богдана Суходольского на тему: что и зачем мы хотим раскрыть в человеческом мозгу.

Это побудило нас поместить на страницах журнала выступление крупного польского ученого. Ред.

У всех нас создается впечатление, что перед социальными науками о человеке открываются широкие перспективы, благодаря использованию ими естественных наук, в особенности же результатов исследования мозга.

Я полагаю, однако, что каждый раз, когда речь идет о синтезе различных дисциплин или о влиянии их друг на друга, очень важно также установить границы этого взаимодействия и влияния. В эволюции наших знаний играют роль не только надежды, но и сомнения, не только обещания, но и оговорки, не только решения, но и вопросы.

I

Позвольте поэтому поставить первый волнующий меня вопрос. Я хорошо вижу и понимаю, что, используя результаты исследования мозга, мы можем рассчитывать, что это нам позволит значительно усилить эффективность влияния воспитательного процесса на образование и формирование человеческого поведения. Но спрашивается: будет ли прогресс педагогической науки и техники ограничен прогрессом в области, отвечающей на вопрос — как действовать воспитателю, или же будет отвечать на вопрос — почему воспитатель должен добиваться именно этого результата?

Для воспитателя и для воспитанника оба эти вопроса имеют очень большое значение. Нужно знать не только «как», но и «почему» процесса воспитания, какую задачу мы перед ним ставим.

Тут мы касаемся вопросов чрезвычайно сложных и сугубо философских. Этим ставится не только вопрос о характере исследований мозга, но, собственно говоря, и вопрос о всей концепции мозга. Или, проще говоря, вопрос о том, охватывают ли закономерности функционирования мозга все содержание человеческой жизни или же они касаются только организующих ее элементов. Иными словами, исследуя мозг, объясняем ли мы только «как»

в действии механизма человеческой мысли и поведения или также, что люди думают, какие ценности они избирают, какую позицию следует им занимать в жизни.

Пользуясь экзистенциалистской терминологией, мы могли бы задать себе вопрос: являюсь ли я моим собственным мозгом, или просто он у меня есть. Если я — мозг, то именно в нем я должен был бы найти весь смысл моей жизни, а не только характер его функционирования. Если же я им обладаю как удобным инструментом моей мысли и моей деятельности, то кто же я? и как принимается решение о том, что я думаю, что я предпринимаю в моей деятельности.

Выражаясь языком скорее биологическим, мы могли бы задаться вопросом: является ли человек тем сложным созданием, функционирование которого определяется структурой мозга, или, наоборот, мозг есть та специальная биологическая кибернетическая машина, которой человек располагает и которую он соответствующим образом программирует?

И что же является решающим для этого программирования? Каковы его источники? Я полагаю, что этот вопрос связан с очень важной и отличительной чертой человеческого сообщества. Черта эта — созданная человеком культура. Мозг не является исключительной человеческой особенностью. Он ею становится только в связи со специфической жизненной средой, создаваемой для себя человеком.

Эта среда — человеческая культура. Она — такое же создание человеческого мозга, регулирующего человеческую активность, как и источник его развития и приобретаемого им содержания.

Ведь в конечном счете хотя и верно то, что мозг математика творит математику, столь же верно (и это даже, может быть, более важно), что и развитие математики формирует мозг математика. Но и вообще — мозг человека творит культуру, но и культура постоянно развивает мозг человека.

Но если положение таково, не столь уж парадоксально было бы задать вопрос: а где же на самом деле находится мозг человека? Локализуется ли он биологически в ограниченном временем и пространством пункте, в нашей голове, внутри нашей черепной коробки, или он также — в среде культуры, протяженность которой выходит за временные рамки индивидуальной жизни и ее пространственной ограниченности, в среде культуры, богатство которой содержит в себе многообразие всевозможных стимулов и непрестанную динамику развития.

Однако если мозг находится также и в среде культуры, то из этого следует, что о человеческой жизни свидетельствуют не только результаты исследований человеческого мозга, но и результаты исследований человеческой истории. Философская антропология должна, следовательно, несмотря на все присущие ей трудности и неясности, занять, наряду с изучением мозга, подобающее и столь же важное место среди других дисциплин, предмет которых — изучение человека.

II

Изложенные выше соображения не столь абстрактные и философские, как это может показаться. Выводы из них имеют прямое отношение к очень серьезной дискуссии о самом предмете воспитания. Чему служит воспитание, в самом глубоком смысле этого понятия, — организации ли жизни воспитанников или же созданию самой интенсивности жизни, ее богатства?

Не приходится сомневаться, что формирование личности тесно связано с процессом, обеспечивающим богатство жизни.

Однако принципы, которыми руководятся в воспитательном процессе, могут быть различными. Так, согласно одним принципам, ударение должно делаться на приобретение знаний, на развитие памяти, на способность к использованию знаний, на соблюдение норм и образцов поведения, на приспособление к определенным условиям, на подготовку к выполнению возложенных на человека обязанностей, в то время как, согласно другим принципам, от воспитательного процесса требуется развитие интересов и вкусов, возбуждение интеллектуальной любознательности, призыв к новым формам выражения и эмоций, содействие раскрытию духа по отношению к миру, поощрение творческих тенденций.

Хотя большая часть усилий педагогов, как теоретических, так и практических, направлена на формирование личности, программа ее создания становится сейчас все более и более важной. Это происходит потому, что центральная проблема человека в мире современной цивилизации — это проблема богатства и свежести человеческой жизни, ее интенсивности, ее счастья.

Известно, что по многим причинам, не всегда легко устанавливаемым, в мире растет влияние жизненных примеров, которые выражаются в усталости и покорности судьбе, в скуке и отчуждении; эти покорность и безразличие приводят к отказу от

всех ценностей, к самоосвобождению от всех обязательств. Современная литература и фильм дают нам потрясающие картины этого явления. Начиная с известного романа Ж.-П. Сартра «Тошнота» до не менее известного романа Альберто Моравия «Скука», не говоря уже о фильмах Феллини, например того, где перед глазами участников игры, уже и самих утомленных и опустошенных жизнью, умирает на песке пляжа символический скат — такова длинная цепь произведений, отражающих эту установку, которую мы и сами могли наблюдать в более или менее агрессивной форме в кругах молодежи разных стран.

Как можно было бы ей передать радость жизни, понятие о ценности, чувство и смысл бытия, привлекательность преданности чему-нибудь? Как можно было бы привлечь личность к жизни напряженной и творческой? Как открыть мир зрению и духу, как обогатить чувства и воображение в наших взаимоотношениях с себе подобными, в нашем ви́деньи будущего, на котором вопреки реальности необходимой строится реальность возможная?

III

Таковы особенно важные проблемы педагогики. Помогут ли нам исследования мозга найти ответы на эти вопросы, а если да, то в какой мере? Позволят ли исследования функционирования мозга и структуры человеческого поведения лучше и глубже понять источники и характер сил, на которые рассчитывает воспитатель, когда он стремится не столько сформировать личность, сколько обогатить ее жизнь, не столько приспособить ее к условиям и нуждам, сколько воодушевить ее творческие способности?

Принадлежа к числу тех, кто не придает духовности исключительного значения, мы не считаем, что всё, являющееся механическим в человеке и в условиях его жизни, тем самым представляет собой отрицание его свободы и его творческих возможностей. Но тем не менее мы не позволяем легко увлечь себя мифами дешевых надежд и не разрешаем себе уповать на то, что все проблемы воспитания человека могут быть разрешены путем рационального и утилитарного усовершенствования материальной и социальной жизни человека.

Мы скорее считаем правильным полагать, что эти механизмы являются необходимыми, не будучи, однако, достаточным условием творчества. Оно не может родиться без них, но, с другой стороны, оно не может и проистекать из них автоматически. В

жизни, как и в искусстве, нужны настойчивые и упорные упражнения для того, чтобы двигаться по пути творчества. Величие пианиста зависит от механического искусства его рук и от его мыслительного аппарата, но не из них оно проистекает. Кто мог бы сказать — из чего это величие проистекает на самом деле?

Вот почему исследования мозга, увеличивая все больше и больше наши знания в области образования, понимаемого как формирование личности и ее поведения, мы с растущим чувством беспокойства ставим вопрос о том, как обогатить жизнь личности и как разбудить в ней творческие тенденции. В плане первой педагогической перспективы мы многим обязаны исследованиям мозга, в плане же второй перспективы нам еще многого недостает в методологии, хотя мы в этом испытываем подлинную нужду. Мы не можем сегодня создать биологической жизни, хотя мы в известной мере можем ее формировать и защищать ее в некоторых пределах; точно так же мы не знаем — как создать жизнь личности, хотя в известной мере мы ее можем формировать и приспосабливать.

А сегодня, однако, больше чем когда-либо, молодые поколения нуждаются не только в подготовке к жизни, но главным образом и прежде всего они нуждаются в примирении с жизнью.

Это примирение не может быть достигнуто простым приятием обстановки и царящих в ней условий, организацией своего поведения. Это примирение требует «ангажированности», т. е. оно требует такой деятельности, которая дает радость, делает чувства сильными, увеличивает интерес и поглощает нас в творчестве.

Говоря об этих двух перспективах воспитательской деятельности и связывая их с исследованием мозга и философской антропологией, я признаю известный дуализм человеческой жизни и научного размышления о ней. Это может служить аргументом против такого подхода.

Но разве человек не является действительно двойственным существом, существом странным, которое и приспособляется к условиям и одновременно изменяет их; которое их принимает и одновременно отрицает, побеждая самого себя; существом, которое живет в природной реальности, которую оно творит и получает, создавая в то же время — через науку, технику, искусство — реальность выдуманную?

Институт педагогических наук
Варшава.

Библиография

Живое творчество распада

Первый том посмертного издания сочинений Владимира Львовича Корвина-Пиотровского «Поздний Гость» был мне прислан вдовой поэта в июле прошлого года. С тех пор он много раз перечитывался, и каждое погружение в мир творчества этого незаурядного поэта помогало поднимать новые завесы над тайнами его мысли и заставляло больше и больше любить его.

С формальной стороны Вл. Корвин-Пиотровский остался верен благороднейшим традициям русской поэзии. В книге «Поздний Гость» 4.250 строк, из которых 3.404 строки написаны четырехстопным и 444 строки пятистопным, и еще 32 строки неравностопным ямбом. Хореев очень мало (всего 176 строк), еще меньше «логаэдов» (142 строки). Только два сопряженные стихотворения написаны амфибрахием (54 строки). Несколько анапестических строк мелькнуло среди логаэдов, а дактиль остался вне поэтического хозяйства Вл. Корвина-Пиотровского.

Любопытно, впрочем, не это. Логаэдами Вл. Корвин-Пиотровский писал в сравнительно ранний период своей поэтической деятельности. Зато амфибрахий появился у него уже на склоне его жизни, среди «Калифорнийских стихов», в числе которых вообще нет ни одного неполноценного стихотворения. Это значит, что поэт до конца продолжал итти вперед, искать и находить новые средства. В этом плане следует сказать, что он ушел от нас слишком рано — в полном расцвете своих сил, в апогее своего творчества.

Я умышленно упомянул сначала о технической стороне поэтического хозяйства Вл. Корвина-Пиотровского, чтобы больше к ней не возвращаться. Слух этого мастера непогрешим, вкус тоже. Он находчив, предельно выразителен, проницателен и серьезен. Он никогда не снисходит не только до юмора или шутки, но даже до иронии. Воистину он один из тех немногих поэтов, которые пишут так, как если бы они знали, что на них смотрит Бог.

Какова же философия Вл. Корвина-Пиотровского? Можно ли назвать его идеалистом, кантианцем, рационалистом? А если нет, то, быть может, скептиком? Я ответил бы на это, что подлинная поэзия — не изложение философской системы, что она живет и растет не в области чистой мысли,

---

Владимир Корвин-Пиотровский. Поздний Гость. Том 1. Издательство Виктора Камкина. Вашингтон, 1968. 234 страницы.

а в области красоты. Философские идеи иногда заглядывают и в эту область, но «определить» поэта, наклеить на его творчество ярлык значило бы в значительной мере убить его, остановить движение его духа.

Вл. Корвин-Пиотровский, конечно, не наивный реалист, а метафизик. Грань между этим и тем миром у него подчас почти стирается, становится неуловимой, зыбкой, условной. Оба мира — этот и тот — в какой-то последней глубине совпадают, смыкаются. Тот мир постоянно заявляет о себе, проступая в этом мире как ряд прорывов и символов. Не каждый поэт, но каждый подлинный поэт по своей природе символист. Он мыслит метафорами, но в некий момент озарения метафора вдруг перерастает самое себя, как бабочка гусеницу, и живет как символ, как просвет в реальность высшего порядка.

Настойчиво вторгается в поэтический дом Вл. Корвина-Пиотровского образ-символ Гостя. В самое обыденное существование, в жизнь самую упорядоченную, в душевный мир, самый установившийся, вдруг врывается (влетает? входит? вползает?) Гость или Поздний Гость. Это и Командор Дон-Жуана, и черный парус Ростана, и вечно ускользающее касание того мира:

Повторный осторожный стук,
Но никого за дверью нашей.

Поэт, сам не зная, что сулит приход Позднего Гостя, восклицает в полной растерянности: «Кто он? Чем он сердцу дорог? Думать трудно, думать лень — —». Раздумье обрывается «изобретенным» Вл. Корвиным-Пиотровским новым знаком препинания — двойным тире (бывают у него и тире тройные). Этот знак заменяет у него нередко жеманное многоточие, но часто имеет и свой глубокий, значительный смысл.

Гость, может быть, Смерть, но и смерть не всегда пугает. Гость, может быть, дьявол, так пугающий черного пуделя в ресторане. Гость, может быть, страшный ангел (Азраил?), восходящий «в золоте тумана» в опустошенной душе (Сахаре) поэта. Или это тот сосед в толпе на вокзале, который, случайно задетый плечом, оказывается призраком? Или это тот странный «друг», от прихода которого сразу «распадается наш дом»? Или это «кто-то неживой», который «прельщает нас дорогой дальней»? Или это вагнеровский Парсифаль, приходящий затем, чтобы разрушить волшебный замок злого колдуна — Жизни? И, наконец, Гостем становится сам поэт («Дома, гость непостоянный/Скучной лампы не зажгу».)

Мир — не плоская тарелка «тиши да глади», каким представляют его монисты. Мир Вл. Корвина-Пиотровского полон исконных онтологических противоречий, реальный и вместе с тем иллюзорный, светлый и вместе с тем темный, луг с цветами, но в то же время и юдоль плача.

И так же сложен, непоследователен, самопротиворечив чувствующий человек в этом многосоставном мире. «Ветер влажный» этого мира — не идилия, не пастораль, а такая же, как человек, скорбящая и стонущая стихия:

О, как терзает, как возносит
Он ветви в бурной вышине,
О, как он мучит сердце мне,
Как этой муки сердце просит.

Более того, «радостям открыта» только та душа, которая «как поле осенью, изрыта, / Захлестана, до тла разорена». Страдание смыкается с освобождением, с духовным прозрением (вечная тема Иова): не случайно в тюрьме поэт творит стихи о свободе — той неотъемлемой истинной свободе, которая созревает в человеке именно тогда, когда физической свободы нет.

Во многих своих стихотворениях Вл. Корвин-Пиотровский показывает себя пантеистом, которому «так просто жить и умереть, / Благословляя все законы», так как «радость горя не короче». В момент такого самоотождествления с природой поэт срастается с травой (которая «сквозь тело легкое ... почти неслышно прорастает»), пронизывается и жаром «небесного огня, и льдом подземного теченья» — одним словом, вливается как некая нота в «музыку земли». Но и саморастворение не всегда радует, ибо и в этом состоянии у поэта остаются клочки воспоминаний.

Человек бессмертен, хочет он этого или нет: «в холоде высоком / Ни мести, ни прощенья нет». Быть может, смысл и цель жизни на земле состоят как раз в изживании бессмертия «равнодушно, на ходу», потому что из состояния райской цельности человек ниспал в мир обособленности, боль от которого тем больше, чем невозможнее человеку до конца умереть, окончательно раствориться во всебытии, о котором поэт знает, что «там, в колыбели мирозданья / Ни смерти, ни бессмертья нет», тем более, что в бытии есть некое исконное зло: человек, увы, «заперт в бессмертье»:

Клокочущая пена зла
Всползает, как по трубам тесным,
По узким скважинам древесным,
По жилам вздувшимся ствола.

Та же метафизика Вл. Корвина-Пиотровского приоткрывается в символе воздушного змея, который «скитался в синеве живой, — / Быть может, ангелом безродным / Летел по ломаной кривой». Двойственное сознание человека «в пространство выгнуто иное»: воспарив, оно уже предчувствует паденье, а потом и действительно падает обратно в мир, не сведенный к первичному единству, и находит там и вазу, и букет,

И кресло, крытое чехлом,
На спинке тронутое молью, —
Мир, переполненный теплом,
Любовью и привычным злом,
Весь освященный нашей болью.

В этом странном мире поэт — как бы чувствительная точка в фокусе действия многих разнонаправленных сил. Поэт прекрасен, как бабочка, но так же и хрупок, и каждый «прохожий праздный» может «вонзить свой ноготь безобразный / В обвисшее мое крыло». Живущий в этом зыбком мире поэт подчас не знает, «не вскинуть ли над головой / Бессильные от счастья руки?» или, напротив, «не закружиться ль в вышине / Сверкающего листопада, / Не прикоснуться ли и мне / К живому творчеству распада?»

Воистину поэзия Вл. Корвина-Пиотровского — живое творчество распада. Распалось многое: распалась цельность религиозного миросозерцания, распались философский монизм, идеализм и рационализм, распалась (и это гораздо интимнее и больнее) Россия, распадается сама жизнь. Но в этом вселенском распаде есть некое обетование последнего и окончательного растворения в «добытии», освобождения от дурной бесконечности бессмертия.

Вот почему Вл. Корвин-Пиотровский так часто размышляет о смерти, об иллюзорной, мнимо-окончательной, лживой, ничего не разрешающей смерти. На самом деле умирает не человек, а мир вокруг него: «весь город (или вся душа) / Уже готовится к отлету», ибо человек только «слабая тень», только поздний гость в этом мире-сновиденьи, но гость, который не только не хочет «загоститься», но, напротив, жаждет совсем иного: освобождения (от круга перевоплощений), угашения особности, саморастворения в Плероме.

Смерть у Вл. Корвина-Пиотровского таинственно роднится с любовью:

Ты хочешь знать таинственное имя?
Быть может, смерть. Но краски и слова,
Но эту дрожь — любовь зовет своими.

Смерть каждого индивидуума — вспышка надежды на то, что он, наконец, освободился. Если на этот раз он еще не освободился и ему придется жить снова и снова, то каждый последующий раз смерть будет возвещать возможный конец наскучившего круга бывания, уход из-под власти роковой необходимости.

Спешу оговориться, что Вл. Корвину-Пиотровскому решительно чужды оккультизм, эзотеризм, теософия и всякая вообще дурная мистика.

Мысль Вл. Корвина-Пиотровского богата. В мире его видений проходят образы Ярославны (России?), трех волхвов («огней дальних звезд»), старухи-Сивиллы, символы теней (полуреальность бывания?), прожектора (прозрение?), черновика (индивидуальная жизнь — не более, чем подготовка)... Он живо откликается на образы и символы Данте, Шекспира (Офелия), Пушкина (Марина), Лермонтова (Тамара). Он то и дело перекликается с другими поэтами и даже питает их («косой полет» в стихотворении «Сквозняк»).

Заканчивая отзыв об этой книге, возьму на себя смелость сказать, что поэзия Вл. Корвина-Пиотровского не только не будет постепенно «погружаться в Лету», но, напротив, будет вызывать отклики, как то зерно, которое призвано давать новые всходы, которые мне хочется еще раз определить словами поэта: «живое творчество распада».

Валерий Перелешин

Отмена смерти

Первая книга стихов Николая Моршена «Тюлень», изданная «Посевом», вышла в 1959 г. Владимир Марков в предисловии к ней говорит о поэзии Моршена, что «она высокого качества», «неподдельной скромности и некрикливой самостоятельности в тематике и выборе художественных средств... это не поэзия эффектов... но в ней есть острая мысль, внутренняя строгость».

Эта характеристика остается верной и для второго сборника поэта «Двоеточие». Если сравнить эту книгу со сборником «Тюлень», мы видим, что мысль поэта стала смелее и оригинальнее, что горизонт его расширился: как любимые его реки и ручьи, после долгих блужданий, находят путь к морю, так и душа его, можно предполагать, движимая тягой к бесконечному, тоже вырвалась из клетки на простор. Безнадежно трагический тон, естественный для поэта в советских подневольных условиях, постепенно переходит в страстный протест, в бунт против «эпохи двоевременной» — «междледниковья», в которой он осужден жить, когда тела принадлежат веку «атомному», а души скованы «веком каменным». Поэт не может примириться с миром «схем, конференций, таблиц, стенограмм», с миром «партий, программ и застенков», «где сгибают в бараний, как водится, рог Всех, кто верит и мыслит инако, Где надеются тщетно, седеют не в срок, Говорят

Николай Моршен. Двоеточие. Изд. Русское Книжное Дело. Вашингтон, 1967.

невпопад...»; не может он примириться с боязливым человеческим обществом, которое живет чужим умом, не помнит о чуде, страшится всего неведомого (Моршен называет это «капитуляцией поэзии»), судорожно цепляясь за старые привычные ценности и всюду воздвигая барьеры с бесконечными «номерками, номерочками»...

Моршен, как и учитель его Гумилев (о котором он с большим чувством говорит в «Тюлене»), — классик, так как основа их лирики — поэзия русского Золотого века. (Оба поэта от описания чувственного мира влекутся к символу, — верно замечает В. Марков).

Второй свой сборник Моршен озаглавил «Двоеточие», потому что, как он сам говорит: «я смерть трактую не как точку — Как двоеточье».

Если жизнь и все ее таинственные законы вызывают такой страстный интерес поэта, то и смерть, полная чудесных тайн, не должна обмануть его...

Главный источник вдохновения для Моршена — природа. Она его настольная книга. Он учится у нее мудрости и творческому терпению, а «белокнижному колдовству» — у маленькой былинки, которая, «упираясь вершинкой тоненькой В землю влажную, как ногой, ... Выгибает себя дугой», разрывая оковы — «стотонную плиту бетонную»! Учится верности у звезды: ведь путь ее «к умам открыт и прост»; она светила волхвам и мореходам; без нее нельзя обойтись даже и Эйнштейну ... Поэт наблюдает «медлительную глубину» реки, «где ограничило движенье Свои свободы и права И где вода, как вдохновенье, Целенаправленно трезва»... Его восхищает мужество и задор реки, когда она, в весеннее половодье, «благодарная снегам», «гигантскими шагами» мчится «прямо по лугам, Пренебрегая берегами»... а также горного ручья — «Подпочвенного поэта», что рождается «незрячим», «ощупывает суть вещей, Течет под камень нележачий, И, окрылен своей удачей, Выходит на простор ночей...» Он «всех поит, а сам — ничей»; иначе говоря — все отдает другим, ничего себе не оставляя и... свободен от оков! Поэт видит красоту и закономерность в творении, в медленной эволюции ее чует будущие победы Духа, новые свершения и открытия. Пусть прошли миллиарды лет с тех пор, что выполз «из тьмы болота» «пресмыкающийся ящер» (недаром — «с разрезом скифским глаз»!; вполне естественно, что через «мильонолетья» придет нам на смену «таинственный потомок третий», чья жизнь и помыслы будут чудесны! Эта «гурьба» — радостна, ибо «звери, люди и стихи — Все братья, все одной породы, Не прихоть, но закон природы, Ее успехи, не грехи».

Есть бескорыстная радость в исканиях, в опытах ученого, которому нежданно открывается новая формула, отмечающая все старые знакомые законы. Это человек «невтоновой породы». «Пред ней склоняет голову природа». Недаром поэт называет свою душу «следопытом», «разведчиком» ... «Желали б люди небывалого!» Ведь поэт это тот, кто верит в чудо; лишь творец создает новые миры, недаром ему «в бессрочное владение дано во-

ображение, Чтоб приходило все в брожение, Чтоб все играло, чёрт возьми!» Разве не чудо, когда «В мире тусклых надежд и бездомных собак По утрам расцветают цветы. И встает Будапешт. И ведет Пастернак Разговоры с бессмертьем на ты. Возникают живые как ртуть полыньи. Собираются в строчки слова. Загораются солнца. Гремят соловьи. И асфальт разрывает трава?» Не чудесно разве зрение, завещанное слепому умирающим аббатом? «Мы смертны все: аббат или поэт. Но как шумит бессмертие над нами, Когда, прозрев, слепой увидит свет, И мир, и небо нашими глазами!» И художник тоже может завещать свое зрение, новое ви́дение — слепым от рождения — творчески неодаренным людям? А еще бывает чудо, взятое с бою, вырванное из когтей земной тяжести, косности, как, например, случай героического преодоления страшных физических недостатков глухонемой и слепой Еленой Келлер.

Разговор о Елене Келлер

Ты только вдумайся: взамен
Вот этого куста сирени,
Зеленых крыш и белых стен,
И доносящегося пенья —

Ни зги, ни шороха извне.
Но в кропотливом осязанье
Растет в кромешной тишине
Нащупанное мирозданье.

И, как цветок из темноты,
Ей раскрывается навстречу.
Так, значит, можно! Ну, а ты
С дареным зреньем, слухом, речью,

Скажи, что ты преодолел,
Чтоб свой перешагнуть предел?

Да, Моршен — поэт героического мажора. «Будь собой, не печалься и не подражай — Ведь ты тоже дитя литосферы... И чужою не двигайся верой». Он не страшится смерти: «Мне гибнуть здесь, как гибнут сплошь Идущие путем творимым...» Однако он не желает бессмысленной пассивной гибели быка, которого ведут к мяснику: «Пусть бык! но чтобы — матадор! Чтоб как Давид и Голиаф! И чтобы шанс и чтобы спор, И даже — смертью смерть поправ!»

Лишь человеку дан высший дар — рождение свободного слова, и «сре-

ди молчанья мирового»... одна только наша земля окутана «дымкой Слова». «И мнится мне, что ей одной На долю выпал звонкий жребий: Быть первой клеточкой живой, Стать Вифлиемскою звездой В еще бездушном косном небе».

Пожалуй, того, что принято называть «чистой лирикой», мало в книге Моршена. Но разве вся она — не хвалебный гимн (пусть не ортодоксальный!) Творцу и Его творению?

О. Можайская

Дурная мистика

Кажется, Андрей Белый заметил однажды, что «дурную мистику Мережковского следовало бы изъять из всех его произведений, и не за то, что она мистика, а за то, что она дурная». Эту же дурную мистику следует изъять из всех произведений Ю. Терапиано, включая и его статьи и рецензии.

Останется ли что-либо после такого изъятия? Едва ли много. Но почти ничего не останется от книги «Маздеизм», которая, будто бы, представляет собою записи бесед между сугубо «засекреченным« маздеистом высокого ранга и тогда еще совсем юным автором книги, что-то около 1914 года.

Высокопоставленный аноним «с акцентом, но свободно говорил по-русски». Этому трудно верится, тем более, что «русский» язык книги «Маздеизм» изобилует такими словечками «эзотерического» жаргона, как «физический космос», «астральный план», «физическая материя», «энергетическо-душевный план», «абсолют», «манифестации» и «манифестированные миры», «биологический продукт», «физический организм», «космическое сознание», вибрации, потенции, и мн. др.

Впрочем, влияние старца на юношу вообще оказалось неизгладимым, ибо в итоге этих бесед последний, подобно пишущей машинке Остапа Бендера, стал писать — и до сего дня пишет — с персидским акцентом: «под углом зрения наших органов восприятия», «нрав древних персов», «два древнейших символа», «не хочет пропускать через себя чистых лучей», «любимым занятием... было земледелие и скотоводство», «они не спешили строить больших городов», «самые высшие ангелы» и «самые низшие», даже «нисшие», «замыслил и привел в исполнение появление Земли», и др.

Удивительно, что юноша не преподал в свою очередь таинственному старцу начальных сведений по географии и пропустил такие формулировки, как «около Северного моря, там, где теперь расположен Арктический круг».

Ю. Терапиано. Маздеизм. Издание автора, Париж 1968.

Мы на его месте поспешили бы сказать старцу, что от Северного моря до Полярного (конечно, не «Арктического») круга — дистанция огромного размера, и что круг отнюдь не «расположен», так как он воображаемый.

Читатель, серьезно интересующийся учением современных последователей Зороастра и пытающийся утолить свою жажду чтением «Маздеизма», будет горько разочарован. Да, в книге есть кое-что об учении Зороастра, но Зенд-Авеста почти не цитируется, а весь упор делается на какие-то «древние предания» или «древние гимны», названия которых, время и место издания и страницы текста не указываются.

«Эзотерическая» литература — не изобретение Терапиано. На этом же бесславном поприще сравнительно недавно подвизались Анни Безант, Е. Блаватская, скандальной памяти «епископ» Ледбитер, пара Рерихов и многие, многие другие. В писаниях папы-Рериха неизменно бросался в глаза некий приемчик «аргументации». Любое «эзотерическое» положение «доказывалось» по ловкой схеме. Сначала цитировалось св. Писание. Потом — близкое к нему по смыслу «откровение восточной мудрости», за коим следовало несколько общих мест о том, что мудрость, в сущности, одна во всех религиях. А дальше беззастенчиво «цитировались» под вывеской «той же мудрости» бесстыжее вранье Блаватской или собственные измышления.

Пишущего эти строки особенно трогали иные патетические места у папы-Рериха. «Я рассказал бы об этом подробнее, — не раз пишет папа-Рерих, — но об этом уже так хорошо написала моя жена» (под строкой: «Елена Рерих: «Письма с Востока», издательство такое-то, цена 4.95 доллара). Воистину девизом обоих Рерихов было незабываемое «на небо поглядывай, а по земле пошаривай!»

Помнится, Н. К. Рерих побывал в Харбине в начале 30-ых годов. Была по этому случаю устроена выставка его картин. Некоторые запоминались. В частности, отлично запомнилась одна: на холме стоит преподобный Сергий Радонежский, а у него под ногами — нерукотворный образ Спасителя. Кощунство? Безусловно. Но ведать надлежит, что Рерих объявил себя перевоплощением преп. Сергия Радонежского, и что именно по этой причине «эзотерики» всего мира «чтут» преподобного Сергия. Недавно прот. М. Медведев рассказал об этом культе на страницах «Русской жизни», отметив при этом собственное удивление, когда «теософы и оккультисты» валом валили в его церковь (и все другие церкви Шанхая), заказывая молебны преподобному. Ересь? Нет, это даже не ересь, так как рериховская клика — не только не православные, но и не христиане вообще.

Пересказывать «Маздеизм» с совершенно чуждой зороастризму космогонией и домыслами о континенте Ма или Му (язык жителей был, очевидно, односложным, вроде китайского), об их «высокой культуре и технике», о сокровенных исторических и литературных памятниках (из которых «эзотерики» обильно черпают, несмотря на их «сокровенность») — не

имеет никакого смысла, и не только потому, что это вовсе не маздеизм, а весьма современная и безвкусная компиляция (одна терминология чего стоит! И бесспорно хороша «мудрая» Радомила с ее вопиюще славянским именем — сравните чешские имена Людмила, Бегумила и т. п.).

Геологи и географы допускают, что в Тихом и Атлантическом океанах некогда существовали материки, которые потом исчезли. Точка. Догадки о том, что «мудрость» жителей этих материков путями неисповедимыми перекочевала «на Восток», безосновательны. Блаватская нашла какие-то «племена Голубых гор» в Индокитае и уверяла, что там-то и скрываются настоящие посвященные. Очень скоро этнографы доказали, что «таинственные» племена находятся на охотничей стадии развития и даже не слышали ни о скотоводстве, ни о земледелии, ни о спичках.

Тогда «посвященные» переселились в Индию. Наука настигла их и там и разоблачила, но они успели-таки драпануть в Тибет. Китайская оккупация Тибета развеяла и этот миф. Монастыри там есть, совершенно невежественные монахи тоже есть. Куда перекинуть «посвященных» теперь? В Кукунор? В Монголию? В Бирму? В Сиам? Но все эти страны уже довольно хорошо изучены. В отчаянии «эзотерики» ссылаются теперь на «китайские летописи», издаваемые в Сан-Франциско американскими синологами в сотрудничестве с китайскими. Это «издание» (точнее, очередной racket) Терапиано уже рецензировал на страницах «Русской мысли», причем с невинным видом добавил в самом конце своей рецензии («Из китайских летописей» — «Русская мысль» № 2719), что «в Гималаях и в некоторых других странах(?), — говорят все(?) священные предания Востока, — под землею скрыто Царство Таинственной Агарты или Шамбаллы, — но об этом предании когда-нибудь нужно будет поговорить особо».

Забавно, что теперь «таинственное царство» оказалось не на горах, а под землей. Не окажется ли оно через несколько лет на одном из спутников Юпитера или, совсем уж на худой конец, на четвертом кольце Сатурна?

Веды и Зенд-Авеста давно изучены и изданы. Но кому-то и зачем-то нужны всевозможные «эзотерические» писания, теософия, оккультизм, дурная мистика и прочее очковтирательство со ссылками на Веды и Зенд-Авесту.

Казалось бы, если «предания Востока» так часто совпадают с учением Христа, о них не стоит и говорить. Не тут-то было. «Сходство» с учением Христа — чисто внешнее — отмечается для того, чтобы усыпить бдительность, так как подлинная цель всей этой макулатуры — увести христианина от Христа. Средств сколько угодно. Богочеловечество, оказывается, заложено в потенциале в каждом из нас. Христос — один из спасителей или «людей с космическим сознанием», но такие же спасители и Магомет, и Гаутама, и Зороастр, и даже Бальзак и, помнится, несколько соседок и кумушек автора книги «Космическое сознание». Характерно, что в ряде

взволнованных пассажей «Маздеизма» обсуждается и осуждается «несовершенство» и «недомыслие» христианской религии!

В «Маздеизме» часто упоминаются какие-то «святые» (по-видимому, нехристианские). Только раз упомянуты поименно св. Франциск Ассизский, св. Тереза Великая, св. Серафим, но рядом с ними — визионеры всех мастей, святость которых Церковью не удостоверена. Но и это сделано для отвода глаз: «эзотерики» — заклятые враги аскетизма. Самая идея умерщвления плоти и попытка преодоления инстинктов представляется им верхом нелепости. С в о и м языком Терапиано вещает иное: «...Забота о потомстве — священный долг, и не даром (мы сказали бы «недаром», но что поделаешь с персидским акцентом? — В. П.) древние придавали этому такое значение».

Этим заявлением-советом Терапиано убивает сразу двух или трех зайцев. Иоанн Креститель, тайновидец Иоанн (автор Апокалипсиса), великие святые средневековья, св. Сергий Радонежский, св. Франциск Ассизский, св. Антоний Падуанский, св. Тереза Великая, св. Серафим, св. Тереза Малая, сотни святых и подвижников, включая постников, столпников и даже юродивых (жертвовавших Богу заповедным благом — собственным разумом) оказываются ущербными и неполноценными (о самом Христе Терапиано «благоговейно» умалчивает). Но отмечаются и будда Гаутама, и его ученики, и все тибетские далай-ламы, панчэн-ламы и прочие перерожденцы, и дервиши, и милые святые буддийского цикла. Все они, видите ли, не сумели разглядеть, что надо было не бороться с плотью, а стараться ее просветить! «Эзотерики» и Терапиано, со своей стороны, не сумели разглядеть, что аскетизм и, в первую очередь, безбрачие, а не «забота о потомстве» — единственный путь к этому просветлению плоти. И не кто иной, как эти целомудренные аскеты, постники и столпники, получали подлинные мистические дары, то являясь одновременно в двух разных местах, то исцеляя и воскрешая, то вызывая дождь, то останавливая бурю.

Даров у Церкви больше чем достаточно. Нет никакой надобности «восполнять» учение Христа «восточной мудростью», буддизмом или зороастризмом. Христос заповедал нам борьбу с ветхим Адамом в нас самих, с нашими страстями и похотями, явил в Себе не только Первосвященника и Агнца, но и вечный пример отношения к Богу, человеку и жизни.

Не имело бы никакого значения, если бы Терапиано цитировал «предания» и «мудрость», не делая точных ссылок, ибо все эти предания в конечном счете восходят к тому шутнику, который впервые напечатал сообщение о чудесах факиров, «призрачно» подписав его «S. Ellmore».

Несравненно хуже, что Терапиано обращается с авторитетнейшим документом христианского вероучения с такой же небрежностью. На стр. 85 он пересказывает евангельский рассказ о поклонении волхвов. Так как ему неудобно, чтобы слава волхвов померкла, он искажает повествование апостола Матфея и опускает очень важную подробность: придя в Палестину,

волхвы решили, по логике вещей, итти в Иерусалим, ибо где было и искать новорожденного царя, как не в столице? С этого мгновения звезда их покинула. Они увиделись с Иродом, поняли свою ошибку и вышли из столицы. И тогда звезда к ним вернулась. Естественно, что, «увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Когда цитируется текст не полностью, а с пропусками, то пропуски принято обозначать многоточием. Терапиано этого не делает и превращает рассказ апостола Матфея в детский лепет. Ему трудно быть джентльменом даже в отношении апостола Матфея.

В том же контексте и с тою же великолепной небрежностью Терапиано ссылается на апокрифическое арабское евангелие Детства. Такой апокриф действительно существует, и в нем сообщается, между прочим, что волхвы унесли с собою пелены, которыми Христос был обвит в колыбели и которые с тех пор хранились как средство от огня, в великом почете (цитируем по изданию М. Р. Джемса, Кларендон Пресс, Оксфорд, 1924). В этом издании евангелие Детства только пересказано (и во вступительном примечании говорится, что «арабское евангелие Детства» — п о з д н я я компиляция). Допустим, что Зороастр действительно предсказал рождение Христа (как, впрочем, это сделали пророк Даниил и Сивилла). Дело в том, что Церковь отвергла все апокрифы, и в хорошем обществе ссылаться на них не принято. Упрямо ссылаются на них только те авторы, которые пытаются доказать заведомо ложные (с точки зрения Церкви) положения. Обильно пользовался апокрифами Мережковский (в «Иисусе Неизвестном» и других работах), но именно эти заимствования составили тот «запретный хлеб», наличие которого в произведениях Мережковского вызвало суровое суждение о дурной мистике, с которого мы начали наш разбор «Маздеизма».

Валерий Перелешин

Луцкий прорыв

Книга эта, посвященная 50-летнему юбилею июньской (по старому стилю — майской) битвы 1916 года, увидела свет с некоторым опозданием: она была издана в Нью-Йорке только в 1968 г.

Кроме «Введения» и «Заключения», в книге имеется 12 глав, из которых три главы лирического характера написаны полковниками Бояринцевым и Эйхенбаумом, а всё остальное принадлежит перу полковника генштаба проф. Е. Э. Месснера. По сведениям, помещенным на обложке книги, проф. Месснер начал свою военную карьеру в 1912 г. в чине подпоручика

П р о ф. Е. М е с с н е р. Луцкий прорыв. К 50-летию великой победы. Всеславянское издательство, Нью-Йорк 1968.

в 15-ой артиллерийской бригаде и закончил Первую мировую войну в должности начальника штаба 15-ой пехотной дивизии. Затем принимал участие в Гражданской войне (Корниловская дивизия), защитил диссертацию при Военно-научном Институте (ген. Головина), где и был удостоен звания профессора. Во время Второй мировой войны занимал должность начальника штаба Русской Освободительной армии. Книгу свою проф. Месснер посвящает ген. Каледину, ген. Лечитскому, ген. Ломновскому, а также офицерам и солдатам 15-ой пехотной дивизии, принимавшим участие в Луцкой битве.

*

Луцкий прорыв и взятие Луцка — одна из славнейших страниц русской военной истории, и память об этом событии должна быть увековечена в сердцах русских людей. Поэтому честь и слава полк. Месснеру за то, что он своим талантом, энергией и инициативой помог создать письменный памятник славы русского оружия и сделал это даже при отсутствии у него под руками архивов и документов, при скудных материальных средствах.

По мере своих сил и возможностей, проф. Месснер в книге своей пытается, не без успеха, восстановить картину Луцкой битвы. Он дает также характеристики главных начальников, руководивших битвой, объясняет исключительное значение взятия Луцка и говорит о величии подвига частей русской армии, принимавших участие в битве за Луцк.

Конечно, в условиях эмигрантского существования создать научно-историческое исследование проф. Месснеру было не под силу. С присущей ему скромностью он признает это и в «Введении» указывает, что книга пишется не как историческое исследование, а как мемуары на основе «заметок, которые автор делал, припоминая пережитое, услышанное и прочитанное, когда память его была молода», т. е. много лет назад... Естественно, что личные воспоминания автора не могли играть решающей роли в его книге: «каждый офицер, — объясняет проф. Месснер, — видел бой в свое оконце и не видел того, что было видно из другого оконца», и, конечно, велика была разница между полем зрения младшего офицера и генералов, руководивших боем, которые могли видеть события «с высоких башен...» Поэтому вполне понятно, что в книге, написанной на основании воспоминаний о «пережитом, прочитанном и услышанном», очень возможны некоторые незначительные несовпадения с фактами, имевшими место 50 лет назад.

*

Не мне указывать на некоторые неточности, вкравшиеся в текст воспоминаний проф. Месснера: я не занимался специально изучением эпизодов Великой войны. Но, к сожалению, об одном историческом факте сам автор напоминает так настойчиво, что обойти молчанием этот факт нельзя.

Дело касается взятия Луцка, на захват которого были устремлены две дивизии 15-ая под командой ген. Ломновского и 4-ая стрелковая («Железная») под командой ген. Деникина. В воспоминаниях проф. Месснера исторический факт взятия Луцка отражен так туманно, что неискушенный читатель вряд ли поймет, кто же был героем взятия Луцка.

Однако в эмиграции сохранился документ, имеющий прямое отношение к этому событию, и я счастлив, что могу помочь полк. Месснеру разрешить, наконец, этот спорный вопрос не по памяти, а на основании документа, достоверность которого не вызывает никаких сомнений.

Привожу выдержки из этого документа:

> «НАШЕМУ генерал-лейтенанту, бывшему начальнику 4-й стрелковой дивизии, ныне командиру 8-го армейского корпуса Антону Деникину.

В воздаяние отличной распорядительности и храбрости, оказанных вами в боях с 22-го по 31-е Мая 1916 года, когда вы, в бытность начальником 4-й стрелковой дивизии, тщательной подготовкой плацдарма для штурма сильно укрепленной неприятельской позиции, блестяще его выполнили с прорывом целого ряда укрепленных позиций, находившихся на пути стремительного наступления, сопровождавшегося упорными боями до троекратного штурма Луцкого тет-де-пона и **заняли самый город Луцк,** причем в период этих боев 40-м армейским корпусом, в состав которого входила вверенная вам дивизия, было взято в плен: 441 офицер, 2 врача и 20 103 нижних чина... из числа коих трофеев более половины досталось на долю названной дивизии, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожаловали МЫ вам Георгиевское оружие, бриллиантами украшенное, которое при сем препровождая, пребываем к вам ИМПЕРАТОРСКОЮ милостью НАШЕЙ благосклонны.

НИКОЛАЙ

Канцлер Орденов Граф Фредерикс

1309 В Царской Ставке 22 сентября 1916 года».

Столь высокой боевой награды ген. Деникин удостоился как непосредственный руководитель боя, и к этой редчайшей награде он был представлен своими ближайшими начальниками, которые имели возможность лично и на месте убедиться, кем из военачальников был взят Луцк.

Эта небольшая неточность, вкравшаяся в воспоминания проф. Месснера, конечно, имеет случайный характер и вовсе не умаляет достоинств ни командира 15-ой дивизиии ген. Ломновского, ни самого автора проф. Месснера, служившего в 15-ой дивизии, ни книги, им написанной.

Арк. Слизской

Список книг, поступивших в редакцию

Аргус. Другая жизнь и берег дальний. Изд. «Чайка», Нью-Йорк 1969. Стр. 2 + 436 + 6.

Крузенштерн — Петерец. Ю. Улыбка Псиши. Рассказы. Изд. журнала «Современник», Торонто 1969. Стр. 84 + 4.

Седых, Андрей. Иерусалим, имя радостное. Изд. «Новое Русское Слово», Нью-Йорк 1969. Стр. 224 (с 32 стр. фотографий).

Ebert, Theodor. Gewaltfreier Aufstand. Alternative zum Bürgerkrieg. Verlag Rombach, Freiburg i/Br. 1968. SS.408.

Letters and Telegrams to Pavel M. Litvinov. December 1967-May 1968. Edited and annotated by Karel van het Reve. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland 1969. Pp. XVII + 199.

Perrault, Gilles. Auf den Spuren der Roten Kapelle. Rowolt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1969. SS. 528 + 6 Bl. Fotos.

Rude, Jeanne. Anna Akhmatova. Une étude avec un choix de poèmes, soixante illustrations, une chronologie bibliographique: Anna Akhmatova et son temps. Ed. Pierre Seghers, Paris 1968. Pp. 182 + 7.

Silone, Ignazio. Sortie de secours. (Traduit de l'italien par Michèle Causse). Editions Mondiales, Paris 1966. Pp. 248.

Völker klagen an. 20 Jahre Menschenrechte. Verband der freien Presse, München 1968. SS. 272.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

В № 70 журнала

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
185	8 снизу	**... но и тревоги философские.**	**... но не тревоги философские.**

В № 72 журнала

231 «ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ» относятся к **№ 71 журнала.**

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор **Н. Б. Тарасова**

Ответственный секретарь **Г. Т. Нашиваненко**

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ» К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ, К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ, К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ — КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «П о с е в», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Г р а н и», в ежемесячнике «П о с е в» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках в некоммунистических странах.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «П о с е в е» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «П о с е в» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

P o s s e v-Verlag, 623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «П О С Е В»

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПОСЕВ“

Михаил Булгаков

Мастер и Маргарита

Полное издание, без сокращений и вставок, которыми советская цензура исковеркала это замечательное произведение при публикации его в журнале «Москва».

Все места, выброшенные цензурой, набраны курсивом, что облегчает сравнение подлинного текста с искаженным текстом, находящимся сейчас в обращении.

В книге 500 страниц. Твердый переплет, тиснённый золотом.
Художественно исполненная цветная суперобложка.
Цена 22.50 нем. марки. В США и Канаде — 6 ам. дол.

Леонид Владимиров

Россия без прикрас и умолчаний

Книга написана в Англии в 1967-68 годах. Английский перевод вышел в США и Великобритании несколько раньше русского издания и получил отклик в прессе, например, «Дейли телеграф», «Джуиш кроникл», «Манчестер ивнинг ньюс», «Энкаунтер» и многих других. В книге 8 глав: Моя большая страна. Его величество рабочий класс. Наши славные хлеборобы. Опасная наука. Творцы подспудных перемен. Журналисты — подручные партии. Дружба народов. Россия в дрейфе.

Стр. 325 Цена 17.50 нем. марок
В США и Канаде 4.50 ам. дол.

Михайло Михайлов

Абрам Терц или бегство из реторты

(О творчестве Синявского)

М. Михайлов, — литературовед, б. ассистент кафедры русского языка и литературы на философском факультете города Задар (Югославия), публицист и общественный деятель, автор пользующихся мировой известностью очерков **«Лето московское 1964»**. С 1965 по 1967 год трижды был судим югославским судом за то, что смело отстаивал свои убеждения и готовил с единомышленниками издание оппозиционного журнала. С творчеством Абрама Терца (Андрея Синявского) М. Михайлов познакомился в следственной тюрьме. Очерки, посвященные этому творчеству, написал между двумя судимостями. В настоящее время оба лишены свободы. А. Синявский — в потьминских лагерях, М. Михайлов в тюрьме города Сремская Митровица (куда его недавно перевели из тюрьмы Пожаревца).

Предисловие и перевод Я. Трушновича

Стр. 88 Цена 8.40 нем. марок
В США и Канаде 2.50 ам. дол.

М. Алданов

Повесть о смерти

Книга в 6 частях. Входит в серию исторических и современных романов автора. Обложка работы художника А. Русака.

Стр. 410 Цена 18.80 нем. марки, в США и Канаде 5.00 долларов

Заказывайте в издательстве:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15
Germany

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ

ГРАНИ

Подписная плата на 4 номера журнала «Грани», включая пересылку, следующая:

В США и Канаде

При подписке непосредственно из издательства — дол. 7.00.
При подписке через представителей и книжные магазины — дол. 10.00.

В Германии и во всех других странах

При подписке непосредственно из издательства — НМ 26.00.
При подписке через представителей и книжные магазины — НМ 30.00.

Цена в розничной продаже с 1 января 1968 г.

Цена отдельного номера в США и Канаде — дол. 2.50.
Цена отдельного номера в Германии и во всех других странах — НМ 7.50 или эквивалент в местной валюте.

Подписную плату следует посылать:

почтовым заграничным переводом или личным чеком в письме по адресу:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M 80, Flurscheideweg 15,
а также банковским переводом:
Dresdner Bank, Frankfurt/M. Konto № 215 640.
Из Германии подписную плату можно переводить и на
Konto № 33 461, Postscheckamt Frankfurt/Main.

Отдельные номера журнала можно выписывать из издательства по указанному выше адресу, а также через книжные магазины.

КАТАЛОГ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ.